В. РАСПУТИН

ПОСЛЕД-НИЙ СРОК







МОЛО-
ДАЯ
ПРОЗА
СИБИ-
РИ



В. РАСПУТИН

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ

ПОСЛЕД-
НИЙ
СРОК

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ◆ НОВОСИБИРСК
1971

Р2
Р24

Библиотека «Молодая проза Сибири»
издается по постановлению ЦК ВЛКСМ
и Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР

7-3-2
46-71 М

ПОСЛЕДНИЙ СРОК



1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утром не в состоянии была даже вынести за со-

бой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много и любила рожать, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко — в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой уйти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица. — И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфетку дам — сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее — откроет

глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто — чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела — покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. Потом растолкал старуху, предупредил:

— Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины.

Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году в селе Усть-Уда Иркутской области.

После окончания филологического отделения Иркутского университета, в 1959 году, несколько лет работал в иркутской и красноярской молодежных газетах, много ездил по стройкам, часто бывал в селах. Результатом этих поездок явились две книги очерков — «Костровые новых городов» и «Край возле самого неба», вышедшие в Красноярске и в Иркутске.

Первый рассказ «Я забыл спросить у Лешки...» был опубликован в альманахе «Ангара» в 1961 году. В 1965 г. в Чите на совещании молодых писателей Сибири и Дальнего Востока рассказы В. Распутина получили хорошую оценку и были выпущены отдельной книжкой в Красноярске под названием «Человек с этого света». В 1968 г. первую повесть молодого писателя — «Деньги для Марии» — выпустило издательство «Молодая гвардия». В 1967 г. был принят в Союз писателей.

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

— Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал старуху по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

— Мать, — тормошил Михаил, — Варвара приехала, погляди.

— Матушка, — старалась Варвара. — Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером, на счастливо подгадавшей «Ракете», которая ходит только два раза в неделю, приехали городские — Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращи-

лись старухи и ребятишки, старухи крестились.

Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

— Матушка-то наша... Матушка-а-а!

— Погоди ты, — опять остановил ее Михаил. — Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михаилова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

— Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

— Зеркало, — вспомнила она. — Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

— Жива, — с облегчением выдохнула она. — Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывая, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце ко старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты.

Варвара вздохнула:

— Ах, матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол — сю-

да, в комнату, или в кухню. Решили, что лучше в кухню — чтобы не тревожить мать. Михаил принес купленные со дня бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

— Татьяна наша сегодня уж не приедет, — сказал он. — Ждать не будем.

— Сегодня не на чем больше, ага, — согласился Илья. — Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут — ага.

— Или в городе.

— Завтра будет.

— Завтра обязательно.

— Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

— Давайте. За встречу надо.

— А чокаться-то можно ли? — испугалась Варвара.

— Можно, можно, мы не на поминках.

— Не говорите так.

— А, теперь говори, не говори...

— Давно мы вот так все вместе не сидели, — с грустью сказала вдруг Люся. — Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

— Где уж там — не уезжали! — стал обижаться Михаил. — Уехали — и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

— Варваре тут рядом.

— А вам прямо из Москвы ехать, — поддела Варвара. — День на пароходе — и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

— Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить, — разволновалась Люся. — При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Чё с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть у Варвары — не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

— Давно не была — чего там! — поддержал Варвару Михаил. — У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был — когда с севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся.

Илья помнил, кивнул.

— Не могла, вот и не приезжала, — обиженно сказала Люся.

— Захотела, смогла бы, — не поверила Варвара.

— Что значит смогла бы, если я говорю, не могла? У меня такое здоровье, что если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

— У Егорки всегда отговорки.

— При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

— А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

— Ладно вам, — сказал Михаил. — Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

— Поди, хватит, — предупредила Варвара. — Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

— Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя — не маленькие.

— Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником-отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, смотрелась она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и необоротистой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны на них еще не было — поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и хоть длинного Ильи в деревне

не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на севере, волосы у него сильно повылезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки; брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела — даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе бог не дал.

У Михаила не то что у Ильи — волосы густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта не столько от родовы, сколько от солнца да от мороза — летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке — круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны, самой младшей. У Михаила с Ильей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали — сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить, — говорил Михаил. — Теперь

бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

— Он где? — спросил Илья.

— В армии. Второй год уже доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его, как командира, наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.

— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, — посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

— Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

— Подождите уж немножко, — сказала Люся.

— Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так.

— Ой-ёй-ёшеньки, — вздохнула Варвара. — Не думали, не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья.

Варвара обиделась:

— Ты прямо как не родной! Все с подковыркой. Все хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

— Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?

— Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

— У вас швейная машинка есть?

— Есть, только не знаю, шьет ли она. Давно уж не открывала.

— Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья, — объяснила Люся. — Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придется здесь.

— Не успеете сегодня.

— Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

— Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его — чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожила, — всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегорожена всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михаилова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане; баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа и стояла в ограде. Илье дали доху

и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, наказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

— Ложись, — сказала Люся Наде. — Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила — все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Чё это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, чё ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А чё я такого сказала?

— Ничего.

— Шей, я тебе ничё не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще. Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась.

— Чё это он кричит?

— Не знаю. Сигналы кому-то подает.

— Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

— Пойду. Ты долго здесь будешь?

— Пока не сошью.

— Не надо было нам сегодня ложиться, ох, не надо было, — покачала головой Варвара. — Сидели бы, разговаривали — все веселей. Чует мое сердце — не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

— Что? — спросила Люся.

— Или уж мне кажется, или правда. Иди, посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, и-а... Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за многомного километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

— Ты ложись, — жалея сестру, сказала Люся. — Я пока шью, буду смотреть, а потом разбужу тебя.

— Да разве я усну? — по-ребячьи захныкала Варвара. — Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

— Сиди, если хочешь.
— Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? — спросила она.

— А что?

— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

— А что, твоей девке носить нечего?

— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

— В черном-то какой же форс?

— Она у меня не привередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

— Уезжать буду, отдам.

— Я так и скажу: от тетки, — обрадовалась Варвара.

— Говори, как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михаиловой половине. Варвара насторожилась:

— Кто бы это? — Потом, когда храп окреп, рассердилась: — Бессовестный какой. Нашел время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется. — Она умолкла и вдруг жалостно попросила: — Пойдем, еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

20 Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но вид-

но было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось положить ее на свою кровать, а самой идти на старухину половину — иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, моросящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услыхав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиного голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсаживаясь, кричала недоёная корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять гром-

ко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей, которые можно открывать и закрывать, в избе, кроме входных, не было, а был только дверной проем — в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухиного лица она не увидела, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то — живое или уж мертвое — находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

— Сшила она вчера, нет?

— Сшила, — также шепотом ответила Варвара. — По мелочи только кой-чего не успела. — И не выдержала больше, взмолилась: — Пойдем, разбудим ее. Прямо не могу.

— Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец, Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теребить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчка отъехала в сторону.

— Что? — спрашивала Люся. — Что?

Варвара приготовилась плакать:

— Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

— Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял.

— Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володьке отбить.

— Ты что?! — остановила его Надя. — Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

— Жива.

— Живая?! — Михаил повернулся к Варваре, вскипел: — Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

— Тише! — потребовала Люся. — Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села заметывать на новом платье петли и

пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая.

Он заворчал:

— Живая — так зачем будишь?

— Сказать тебе хотела, обрадовать.

— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

— Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого Покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется, и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжив-

шая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

— Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уж забыла, что они еще на свете есть — сто лет не ела. Даже не верится.

— Рыжики — это ага, — причмокнул Илья. — Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще что-нибудь — это ага!

— Чего ж ты их вчера-то не поставила? — упрекнул Михаил Надю. — К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать — вроде ничего. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?

— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала и то, где поближе.

— У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать, — вспомнила Люся. — Все места знала. Я с ней как-то пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» — «Здесь». — «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» — «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы

мне доказать». Она обиделась, ушла от меня. Так, поодиночке, и домой вернулись, она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

— А она до конца никогда не выбирала, — объяснил Михаил. — Если маленький — оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал, — ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать — быстрей, они все больше гнездами растут.

— Лучше всех у нас Илья грибы собирал, — засмеялась Люся. — Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

— Было, ага, — с удовольствием признался Илья.

— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем, — даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки...

— На Еловик, — подсказал Михаил.

— На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду...

— Пауты, поди, а не пауки, — буркнула Варвара. — Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

— Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове... сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

— Лиственничник.

— Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем! — кусты лежат на земле от ягоды. Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час — и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

— Не-е-ет, что вы! — махнула рукой Надя. — Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь...

— Ой, как жалко!

— А сколько было синей ягоды на вышке! — тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

— Что ж вы это так?

— Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось — с кустами, с листьями — с листьями унесут.

— Ну, рыжики-то, говорите, есть? — допытывалась Люся.

— Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

— Надо хоть за рыжиками сходить.

— По рыжики-то сходить — можно было, поди, без телеграммы сюда приехать, — сказала Варвара.

Люсю это разозлило:

— С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не по тебе, нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Что это такое в конце концов?

— Да никто ничё и не говорит, я не знаю, чё ты на меня взбеленилась.

— Я же еще и взбеленилась!

— Я, ли чё ли?

— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная, она не вкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

— Татьяна должна подъехать. Соберемся.

— К обеду должна, ага.

— Если из района, может, и раньше.

— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, — заранее пожаловалась Варвара.

— А у нее адрес-то ваш есть?

— Я откуда знаю, есть или нет? Она нам не пишет.

— Как же она тогда вас найдет?

— Поди, раньше-то бывала, помнит.

— Нет, Татьяна, если она в районе ночевала, обязательно зайдет, — сказал Михаил. — Татьяна у нас простая.

— Была простая, а теперь еще надо поглядеть, какая, — стояла на своем Варвара. — Столько дома не была.

— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела и забыла, где родилась, кто родня.

Люся бессильно покачала головой:

— С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

— Не любите, когда правду-то говорят.

— Вот видите. — Люся поднялась из-за стола, поблагодарила: — Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

— Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

— Нет, для меня не мало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

— От рыжиков поносу не будет, — примирительно сказала Варвара. — Они для брюха не вредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали. — Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: — Чё это она?

— Кто ее знает.

— Прямо ничё и сказать нельзя.

— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, — посмеиваясь, посоветовал Илья.

— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась — чё ж нам теперь и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся вдаль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал, что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе,

перед глазами мужиков, без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норовя зайти сзади, Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

— Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась:

— Курицы склюют.

— Я тебе покажу — курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу, ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу — было спокойно, ровно, с редкими привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — все не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот покой смирял и шумы, и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

— Видать, не вредная у нас все же мать была, — сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной. — И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

— Погода установилась, ага, — отозвался Илья.

— Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

— Водку, что ли?

— Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай бог болит. — При воспоминании о похмелье Михаила передернуло. — Как чумной весь день ходишь.

— Все равно, я думаю, для женщин взять придется.

— Немножко возьмем и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

— Кругом равноправия требуют?

— Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

— Сколько водки будем брать?

— Да не знаю, — пожал плечами Михаил. — Ящик, однако, надо. Если на поминки, то меньше и делать нечего. Полдеревни придет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

— Ящик возьмем, ага.

— У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

— Пятьдесят рублей есть.

— Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

— У сестер брать будем?

— У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай

дает. Тоже родная дочь, не приемная — как ее будешь отделять? Еще обидится.

— Сейчас сразу пойдем?

— А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул, и все, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, потом позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя. — Михаил первый поднялся, не прерываясь, раскинул: — Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножно остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

— Ну вот, — сказал Михаил. — Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидел, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

— Она сама-а, — тянула Нинка.

— Что сама? Что? — тормошила девчонку Люся.

— Это не я-а. Она сама-а...

— Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

— Она сама глаза открыла и сама меня увидала...

— Ну и что?

— «Сама ее увидала», — передразнила Нинку Надя. — А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала! — выкрикнула Нинка. — Ты не видала и не говори.

— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

— Подожди, Надя, — остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке. — Куда она тебе показала?

— Куда... куда... Под кровать.

Надя объяснила:

— Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

— А как она тебе показала? — продолжала допытываться Люся. — Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

— Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глаза открыла и тоже начала смотреть. И показала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Не говорила.

— Ой-ешеньки, — тяжело вздохнула Варвара. — Чё ж это будет-то?

— Она у нас вообще-то не пакостливая, — вступился за Нинку Михаил. — Никогда не замечали. Может, на мать правда озаренье какое нашло. А Нинка тут подвернулась.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи —

день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте — только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное, по сравнению с этим, казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать. Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился — слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли сидят, как надо, не теряют ли даром время. Мысли об умирающей матери не отпускали, но сильно и не мучили их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них — не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не ста-

ло, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

— Скажи все же, а, — начал опять разговор Михаил. — Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе, — подтвердил Илья. — Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай, не думай...

— Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя отовсюду видать. — Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. — Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребята сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить — выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

— Мужики, идите скорей. Скорее.

— Что там такое?

— Мать...

Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое — не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не

двигалась, что-то внутри заработало — видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти — казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали поймать за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить — казалось, к ней пришли воспоминания

о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула глаза, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула — нет, они не пропали, она увидела их ближе и признала — этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и старуха от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится нескоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношения к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу,

и старуха, как отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

— Лю-ся, — с усилием выговорила она. — Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь, — удержала ее Люся. — Лежи. Мы здесь.

— Матушка-а! — зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам, и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже.

И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

— Таньчора, — с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

— Еще не приехала.

— Вот-вот будет.

— Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли — надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных — она узнавала их и, успокаиваясь, силилась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

— Ты бы сварила мне кашу, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

— Манную, что ли?

— Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку; Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше по-

том сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?

— Родова, — соглашался Михаил. — Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

— Кашу, говорит, хочу, — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья весело настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите, — говорит, — добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». — Он смеялся и повторял: — «Каши, — говорит, — еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела, — более сдержанно отвечал Михаил. — Оно, конечно, столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашу в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бежала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

— Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то, как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего, — подбодрила ее Люся. — Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-ехали с орехами. — Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. — А я-то, бесстыжая, оммануда его, назадь повернула, а тепери над им же и изголяюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

— Молчать, ли чё ли, буду? — куражливо ответила старуха. — В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком? — Они все были тут, возле нее, и она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее продолжала: — Меня будто в бок кто толкнул: ребята приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру — боле мне ничё-о не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли, или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни — потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась: после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, — тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

— Господи, — прошептала старуха. — Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, стал суетливей, бойчей, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться — видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его; и кто зовет, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне... Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья — нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни

на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь»,—потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула — словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула — потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей то самой больше ничего не надо, все осталось позади — что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку: первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать — только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ре-

бят — нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать...

Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными. Вчера был Михаил и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на север с волосами, приехал без волос — тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолстела, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят — скребут. Старуха понимала.

На Люсю старуха только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осто-

рожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, даже говорит совсем не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому — старуха не знала. Ей уже поздно было отказываться от своих привычек — и умрет она как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее — что может рассердить дочь.

Она все смотрела и смотрела на них — жадно, торопливо, словно навеки впитывая в себя каждое лицо, и никак не могла насмотреться, все ей было мало.

— Ты успокойся, мама, — сказала ей Люся. — Успокойся и отдохни.

— Приехали, — старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

— Приехали, мать, приехали, — бодро ответил за всех Илья. — Все в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:

— Не кричи ты громко. Не видишь, чё ли?

— Приехали, — успокаиваясь, повторила ста-

руха. — Дождалася. — Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые люди, с вниманием помолчала и, все так же, не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: — А я пробудилася и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те, господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло, как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ничё и не знала. — Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. — Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету... Лежу и думаю: «Не иначе, как человеку уж после как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, чё он от себя оставил, об чем его сердце болело».

— Ну, мать, молодец ты у нас, ага, — с веселым удивлением покачал головой Илья. — Давно ли слова не могла сказать, а гляди, как разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь.

— И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, — опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

— Да нет, пускай говорит, если может. Я к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке, ага.

— Это все вы, — просто объяснила старуха.— Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назадь. Мертвая, не мертвая, а не утерпела: назадь, сюды, к вам. Вороти-

лась. — Голос ее тянулся тонкой западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. — Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека ишо походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

— Все дело, значит, в боге? Интересно ты, мать, рассуждаешь.

— И бог, и вы. У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говореть! Да ишо столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет.

Отдыхая, старуха долго смотрела на стену, где держалось солнце: после дневной белой кипени оно стало мягче и красней. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, которое старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Похоже было, что она забыла и про себя и про своих ребят, ничего не слышала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые глаза и не отпускало их своей властью, — и все равно жила и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо — они ждали мать, стараясь не смотреть друг на друга.

— Меня и тепери ишо будто на руках кто

держит, — сказала она, не обращаясь к ним. — Будто ничё подо мной твердого нету. А не страшно — будто так и надо.

Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

— Вы-то когда приехали?

— Мы с Ильей вчера вечером.

Старуха сказала не сразу, подождала:

— Гостинцы мне никакие не привезли?

— Мы ведь торопились, мама, некогда было,— неловко замешкавшись, ответила Люся. — Коекак успели. На пристань бегом пришлось бежать.

— Я ить не себе, — сказала старуха. — Мне ничё-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моёй.— Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. — В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, чё там лежит». Я ей говорю: «Ничё там не лежит», а она опеть. Я вроде ничё не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, все с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

— Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, — пообещала Люся.

— Да не надо ей ничего, — застеснялась Надя. — Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

— Сходи, сходи, — сказала старуха. — Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное

мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее.

Люся вспомнила:

— А я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?

— Эти ягодки-то зеленые?

— Да. Виноград называется.

— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ничё-о не надо. Мне бог, вишь, какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала — бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем — и умолкла, вытерла сухие глаза.

— Ничего, мама, ничего, — сказала Люся. — Теперь поправляйся, и все будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. На этот раз старуха молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия—она и глаза не подняла от стены — сказала:

— А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой — я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру,

приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу — не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери — не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

— А кто скажет, моить оне потом ишо сколька да-нить слышат, — добавила старуха. — Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

— Ты о чем это там, мать? — громко спросил Илья. — О чем говоришь-то?

— Об чем? — Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. — Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

— Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь — на руках унесем. Тебя есть кому на руках таскать.

— Попей еще. — Люся подала матери кружку с кашей. — Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

— Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.

— Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.

— Ой, да в меня боле не полезет.

— Ничего, ничего, полезет.

— Мне только бы Таньчору дождаться, — жалобно сказала старуха. — Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?

— Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

— Никто пока и не собирается уезжать.

— Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась — долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

— Что это еще за «надоедать» да «молчком»? — выговорила старухе Люся. — Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами — пойми, пожалуйста, это.

— Не говори так, матушка, — поддержала Люсю Варвара. — Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.

Илья тоже не вытерпел:

— Ну, мать, ну, мать...

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы. Господи...

День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солн-

це теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось, чутко повторяло мать: заговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее — похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из нее один, ложился другой.

По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии — с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулем машины на севере; Варвара со своим мужиком — он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямотой, стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным

лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали ее.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть — отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе — везде, выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

— Михаил, иди-ка сюда.

— Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

— Посмотри-ка, Михаил, — показала Люся, пружиня голос.

— Куда?

— Вот сюда, сюда.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

— Что ты меня стыдишь? Я что тебе — простынями заведую?

— Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

— Люся! Люся! — останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: — Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говорить — о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину — без рук останешься.

— Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай вытащу да давай вытащу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

— Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

— Ишо не лучше! Зачем, говорит. — Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: —Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.

— Зато твой сын должен помнить и о себе, и о тебе, — упрямо стояла на своем Люся. — На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, где она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

— Дались тебе эти простыни.

— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, — качала головой старуха. — Она тут не виноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

— Но ведь я ей ничего и не говорила.

— Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

— Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, чё и сказать.

— Не знаешь — молчи, — хмыкнул Илья. — Гляди, беда какая!

— А я тебе ничё и не говорю.

— Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

— Нет как будто, — ответил Михаил.

— Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, — кивала старуха. — Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

— Нет, вроде на заложке.

— Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегает, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды... отбегалась.

— Мать, — перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу. — Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?

— Ну, мужики, ну, мужики, — встрепенулась Варвара. — Вы без этого прямо жить не можете.

— Не можем — ага, — согласился Илья, широко улыбаясь.

— Да пейте, когда уж вам так охота, — позволила старуха. — Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

— Это — пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала — ага.

— Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

— Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу...

— За ее и есть. И чё оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А оне

ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, то вы бы и послушались... Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился:

— Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

— А я никогда ничё здря не говорю.

— Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

— На Надю я пожалиться не могу, — продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной. — От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне чё плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, чё я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась — что есть она, что нету, названье одно.

— Укрываться надо лучше, — со знанием дела посоветовала Варвара.

— Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды — будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала — чё тут говореть. Он трезвый-то человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

— Как это вяжется? — насторожилась Люся.

— Как... А так. Вот зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах койни-как стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому и близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

— Вот оно что, — сдержанно отозвалась Люся.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека, — возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь. — К родной матушке так относиться — это совсем обнаглеть надо!

— А то придет, вот так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чем я с им, с пьяным, буду говореть, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так. Ну. Пристанет—ой-ёй-ёй!

— Я поговорю с ним, — пообещала Люся. — Я с ним поговорю — не обрадуется. Что это в самом деле такое?! «Пою, кормлю...» Этого еще не хватало.

— Ты только с им с пьяным не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опеть ничё. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

— Пить не надо, — сказала Варвара.

Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

— Дак, а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, все мало.

— Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился, — не переставала удивляться Люся.

— Докатился, докатился, — поддакнула Варвара. — Матушка наша врать не будет.

— Я пошто врать-то буду? — обиделась старуха. — Какая мине нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

— Я и говорю: матушка врать не будет.

— А вот терпеть матушка почему-то терпит, — в тон ей отрезала Люся. — Он над ней издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится — опеть ничё», — передразнила она. — Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из дому выгонит.

— Он меня не выгонял — чё здря говореть.

— Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

— У нас никто в родове мать из дому не гнал.

— У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

— Никто, никто, — согласилась Варвара. — Сколько я на свете живу — никто. Он один.

— Вы от сердитесь, — помолчав, тихонько начала старуха. — Сердитесь, а пожили бы со мной. Это ить чистое наказание— рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то ка-

шель возьмет — белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чище? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться, и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрешь. Он трезвый-то терпит, ничё не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: чё уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел. — Теперь старуха опять говорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она свободно вздохнула и попросила: — Не надо ему ничё говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думаете? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гостито ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут буду, никуда отсюль не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидали, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжелые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет — и не слыхать, будто уснет с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

— Убралась, ли чё ли? — спросила старуха, принимая Надю для разговора.

— Убралась. Корову потом выгоню и все.
— Мужиков не видала?
— В бане они.
— Только бы не напились.
— При гостях, может, утерпит.
— Дак он не один. Гость-то там при ём.
Надя, наконец, сказала, зачем пришла:
— Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уж все готово.
— Садитесь здесь, — отозвалась старуха. — Чё я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.
— Тогда я свет включу.
— Дак включай, кто тебе не велит. В потемках какая еда?
— Мужиков звать надо, нет ли?
— Они у тебя рази нечистым духом сытые? — не насмешничая, ответила старуха. — Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут, не будут, пускай сами скажут.
— Я думала, может, потом им.
— А чё ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.
— Давай, Надя, я помогу тебе, — вызвалась Люся, — видно, ей все-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.
— Сидите, сидите, я сама управлюсь. Я еще подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.
Люся осталась.
Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что

они братья: куда денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели

шеи, у Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскаленной.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

— Ну как, мать, у тебя тут дела?

— А что дела? — ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать друг с другом. — Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь. — Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

— Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся — ага. Свет не без добрых людей.

— Вот именно, — хохотнул Михаил.

— А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал, — вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

— Что такое?

— «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твое», — вспомнил Илья детскую скороговорку, еще ничего не понимая и все же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

— Бесстыжий! — снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

— Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала. — Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза. — То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе издеваться?

— Да вы что — белены объелись?! Кто над ней издевается?

— Ты. Кто же еще, кроме тебя? Оказывается, ты слишком много стал пить и пьяный терроризируешь маму.

— Что-что?! Что я с тобой, мать, делаю? Что такое?!

— Люся, Люся, — взмолилась старуха. — Ты пошто такая-то? Я ить тебе говорела, я ить тебя просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

— Хорошо, мама, сейчас не будем, — отступила Люся. — Но запомни, Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

— А что это такое я там с ней делаю? Не понял я. Как ты сказала?

— Мы с тобой потом об этом поговорим.

— Ты, Михаил, мать не обижай, — сказал Илья. — Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

— Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

— Мать нам жизнь дала.

— Это ты очень даже правильно говоришь. — Михаил смахнул пьяные слезы. — Я ведь все понимаю. Я больше ихнего понимаю. — Он кивнул на сестер. — Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я понима-а-ю.

— Ты хоть думаешь, о чем ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? — вскинулась Люся. — Как тебе только не стыдно?!

— Так, Михаил, тоже нельзя, — опять поправил Илья.

— Если нельзя, не буду, — согласился Михаил. — Ты старше меня, я тебя уважать должон.

— Дело не в этом.

— Я понимаю: дело не в этом.

Пришла Надя, стала разливать суп. Все равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся. Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

— Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Чё делают?! Чё делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть — очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под Рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет. Наконец, окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своем месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберется больше, и, не выпуская из вида Люсю — спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог поду-

мать — вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легко было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались — до того она их надергала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и опустила под них край одеяла — вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них еще достает.

Солнце по утрам не попадало в избу, но когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидела, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:

—Господи...

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять все стихло, но старуха знала, что теперь изба — как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит-заговорит.

И верно, кто-то зашлепал — Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать — так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее. Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

— Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.

— И спи, и спи, — счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло. — Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда — скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенькая ты моя! Как большая, все понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старуха прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто из хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее. Что это за корова, если она не стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надрывать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни ее корову было не слыхать, будто они враз, та и другая, не дождались сегодняшнего дня. А ну, как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живет, никто не досмотрит. Старуха тянула голову, чтобы увидать Миронихину дверь, но глаза достава-

ли только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от ее голоса.

— Сидишь, чё ли? — не ждала Варвара.

Испуг у старухи прошел, она похвалилась:

— Дак видишь, сидю.

— А тебе сидеть-то можно ли?

— У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сижу. — Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для нее значит сидеть.

— Смотри не упади.

— Не присбиривай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сидю.

— Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

— Никто меня не сгонял, не говори здря. Я ишо до ее сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались. Зевая, она сказала:

— Чё-то во сне видала, а чё, заспала, не помню. Чё-то нехорошее.

— Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

— Проснулась — и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли чё.

— Нет покуль. — Старуха забеспокоилась: — Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли чё доспелось? Одна ить, как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

— С чего она помрет-то?

— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли чё ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей сёдни не кричала. Я уж надсадилась слушать — нету. В те раза она всю деревню на но-

ги подымет, покуль до дому дойдет, а сёдни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды...

— Налажусь, схожу.

— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, еще при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

— Разбудили мы тебя со своим разговором, — виновато сказала старуха. — Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтобы тихонько ходили.

— Я выспалась. — У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости. — Я сегодня хорошо спала.

— Ничё во сне не видала?

— Нет.

— А Варваре, говорит, чё-то нехорошее являлось, а чё, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе сходила — а ну, как сон про ее? А тут Таньчоры все нету, нету. Я уж боюсь про ее и думать.

— Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну, как все уснут, а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ём кряхтело, видать, немаленько же оне его вечор выпили. Ну, угомонился, слава те, господи. Опеть я

одна. Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чем я только не передумала? И с мамкой со своей поговорела, сказалась, что вскорости буду. И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. Только бы она сёдни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это бог мне заради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету — есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.

— Я уж не чаяла утра дождаться — ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ничё не знаю. Дак нет, людито спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться — какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну, как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

— Сегодня села, завтра — встанешь,— убирая после себя постель, терпеливо сказала Люся. — Встанешь и пойдешь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живешь.

— Чужой и есть, — повторила свое старуха.

Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и весе-

лил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки.

И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы все хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, еще с порога она закричала — будто принесла бог знает какую радость:

— Вспомнила, матушка, вспомнила!

— Чё вспомнила?

— Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон — так оно и есть. Я как знала.

— Ну-ну? — заторопила старуха.

— Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, чё мы в начинку-то в них кладем?

— Откуда я знаю — чё ты меня спрашиваешь?

— Грязь.

— Чё кладете?

— Грязь. Под ногами у нас грязь, мы ее вместо мяса и берем. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с грязью будут. Прямо смеемся от радости. А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берете, какие у нас так пельме-

ни выйдут? Никакого навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня прямо всю дрожью обдает.

— А дальше-то чё-нить было, нет?

— Нет, больше ничё не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший. — Варвара испуганно качала головой, спрашивала: — К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы спать не ложилась, чтоб мне не видать его.

— Ты свои сны лучше бы при себе держала, — посоветовала ей Люся.

— Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

— Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет, а тут еще ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после нее до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

— Притвори ее, — попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

— Чё не скажи, все не так, все не так. Ойёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара. Теперь уж у нее и во сне смотреть нету права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне чё теперь, и не спать совсем?

— А ты не все слушай, чё тебе говорят.

— Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, — пожалела ее старуха и, вспомнив, перебила себя: — Я тебе сказала, к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?

— Нет еще.

— Дак ты пошто не сходишь-то?

— Счас пойду.

— Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдет. Не доспелось ли с ей чё? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить ее уж сколь не видала. — Варвара пошлепала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку: — Да дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу — теперь спина была сверху и вроде притихла. Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным — недолго было и нырнуть — и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

— Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома, — крикнула в окно Варвара. — Надя говорит, утром она на нижний край убежала.

— Ну-ну, — поняла старуха и, помолчав, сказала себе: — Опеть куды-то и убежала. Ой, в кого она только такая бегучая?

— Ты сидишь? — спросила Варвара.

— Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволок себя в сени, забренчал там

ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живет, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод все равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

— Землю во сне видать — это, однако, и не к худу совсем, — неуверенно сказала потом она и огляделась.

День уже целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить — все равно никакого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло — в дождь или в ветер все-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицы от избы, все казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем все-таки донесли ему воспоми-

нание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней — скорей всего, по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он еще постоял, помедлил; онто знал точно, что вчера они с Ильей и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всем желании не могли выпить ее полностью, и все-тки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому... В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламье и счастливо сморщился — в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине.

Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал еще одну бутылку и, торопясь, сунул ее себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла — нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и деланного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, еще как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмельем — вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придет конец. Оттого и не боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь свое близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы еще посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать, он знал и без того. Хотел еще зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бутылкой в кармане, к тому же потом легче легкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестер, и не пошел, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала, — в баню, к Илье.

Илья как ни в чем не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залетела в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку — если кто зайдет, всякое может подумать. Не курицы же ее выпили.

Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

— Илья! — позвал он. Это было сегодня его первое слово и без пробы оно вышло не чисто, с хрипом. Вот до чего запеклось все внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос: — Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменилось.

— Вставай, хватит тебе спать.

— Рано же еще, — не открывая глаз и не двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не подымешь.

— Какой там рано! День уж.

— Чего это вам не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли черт знает когда.

— Как ты? — не слушая его, спросил Михаил.

— Не знаю еще. Вроде живой, — открыл все-таки глаза Илья.

— А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

— Перестарались вчера — ага.

— Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься — упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

— Мне наутро спать надо — ага. Все подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

— Ишь как! — позавидовал Михаил. — Организм, что ли, другой? Родные братья — вроде не должно бы.

— Ей все равно: братья — не братья.

— Но. Это нам еще повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать, не поднялся. Я уж себя знаю.

— Мне с красной тоже хуже.

— Покупная, холера, болезнь.

— Что?

— Покупная, говорю, болезнь. — Михаил показал на голову. — Деньги плочены.

— Это точно.

— Я еще лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошел. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьешь ее, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь — не человек. Плюнешь и думаешь: все, может, меньше ее там останется, хоть сколько да выплюнул. Всю жизнь вот так маешься.

— Это анекдот есть такой, — вспомнил Илья. — Мать отправляет свою дочь отца искать — ага. «Иди, — говорит, — в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказывается, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

— Но, — засмеялся Михаил. — Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость.

— Не слыхал этот анекдот?

— Нет, не слыхал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный. — Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чем говорилось, и решил, что больше тянуть нечего. — Так что, Илья, — сказал он и достал из-за курятника бутылку. — Поправиться, однако, надо.

 — Ты уж притащил. — Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

— Шел мимо и зашел. Чтобы потом не бегать.

— А может, лучше пока не будем? Подождем?

— Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. И так уж едва дышу. Придется вам тогда меня вместо матери хоронить.

— Как там мать-то?

— Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.

— Это точно, сказали бы.

— Ну как — наливать, нет? — раскупорил Михаил бутылку.

— Наливай — ладно. За компанию.

— И правильно.

— Закусить-то совсем нечем?

— Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мед пьем.

— Мне-то неловко там шариться.

— А что ты — чужой человек, что ли? Возьмешь, что надо, и обратно.

— Ладно, давай так. Сойдет.

— Сойдет, конечно. И пить — помирать, и не пить — помирать, уж лучше пить да помирать, — как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаенным вниманием подождал, пока водка найдет свое место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник. — Они думают, мы тут мед пьем, — прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые все больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

— Ну, как? — поинтересовался он.

— Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не

протолкнешь. Ее для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кроме того, взяла верх своя привычка — пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях, хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая; настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на ней воду — не баня, а одно названье. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то — шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берется, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидал, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась — после улицы ей показалось в бане

совсем темно, хотя света здесь было вдосталь, только он не блестел на солнце и не слепил, а светил со спокойной и медленной силой.

— Это ты, чё ли? — вглядывалась Варвара в Михаила.

— Нет, не я. Исус Христос.

— Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думаю, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

— Сидит?

— Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила...

— Голову наверх держит!

— Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо, — упрекнула Варвара. — Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

— С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

— Пойдите сами поглядите. Кто бы мог подумать? — Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторяла: — Вот пойдите, пойдите, поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

— А что глядеть, пускай сидит, — отговорился Михаил. — Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она там у вас не упала.

— Нет-нет, она хорошо сидит.

— Мы потом, попозже придем, — пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

— Там Надя дома, нет?

— Дома. Все дома. И Люся, и матушка наша дома.

— И матушка, говоришь, дома?

— Да ну вас! — поняла Варвара. — С вами только свяжись. Пойду я.

— Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской соступила с предамбарника — он был высокий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить—и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидать, как они удивляются матери, которая еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть — ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой нехороший. У кого бы спросить о нем, кто может знать? С Люсей не поговоришь — вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота — там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил, не медля, выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ей, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришел сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

— Так что, Илья, — приготовился он. — Вроде дело на поправку пошло. Самое время доба-

вить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй не догонишь.

— Я без закуски больше не могу, — отказался Илья. — Хоть бы корку какую-нибудь для занюха — ага, и то ладно. А как — это гиблое дело. Раз, два — и готовы. Никакого интереса.

— Может, луковицу в огороде сорвать?

— Луковица нас с тобой не спасет. Это точно. Тут даже соли нету.

— С закуской оно, конечно, надежней, — согласился Михаил и тоскливо помолчал. — Подождем — что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнется опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаю.

— Ты, если хочешь, выпей.

— Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю ее пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж ее изучил.

— С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

— Дак говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связался, аппетит поимел — не знаю... — Михаил долго качал головой. — Не знаю, Илья, не знаю. Все равно потянет — я так считаю. Большая в ней, в холере сила, попробуй справься. Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал — чего себя и людей смешить. И нечего стараться. Оно, конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь ее пьем, пока не напьемся, будто это вода.

— Пить надо уметь — это точно.

— Ты-то часто пьешь?

— Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго — ага. И баба у меня с ней никак не контачит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку, спросил:

— Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.

— Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

— Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало. — Он и правда плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость. — Ну вот, — шумно выдохнув, сказал он. — Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

— Ухи сейчас бы неплохо — ага.

— А все почему пьем? — не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья молчал. — Вот говорят с горя, с того, другого. Не-ет. Это все дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не все, для этой привычки тоже надо иметь причину. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал — стыдно, глаз не поднять. А, с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой, — лучше. Идешь опять работать, грех замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. С одной стороны, теперь легче, а с другой, все труднее и труднее,

все подпирает тебя и подпирает. — Михаил махнул рукой. — И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

— Потребность — это точно, — согласился Илья. — Пьем сразу по способности и по потребности. Сколько войдет.

— А как не пить? — продолжал Михаил. — День, второй, пускай даже неделю — оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Сплошь одно и то же. Ведь столько веревок нас держит и на работе, и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, все должен, должен, должен... А выпил — и уж ни холеры не должен, все сделал, что надо. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, какой дурак? Выпивка — она ведь вначале всегда как праздник. Опять же надо меру знать...

— Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

— Оно, конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись, — разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное дело, на другой бок пойдет. А все равно мне еще надо, такая у меня натура. Она пока свое не возьмет, ее лучше не удерживай. Она не любит выгадывать, делать только наполовину, ей все надо до отвала, всласть. И работать, и пить. Сам знаешь.

— Сколько у тебя в месяц выходит?

— Чего в месяц? Вина, что ли?

Илья засмеялся:

— Вино ты без бухгалтерии пьешь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок, ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

— Заработок... Когда как, Илья. Заработки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас еще зарабатывают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас попридержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполовину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплевывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил — отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины заместо людей, техника.

— Легче с ней, с техникой-то.

— Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся. — Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал: — А все-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там были тоже немаленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребятишки в котелочках принесут, поели — и опять. Азарт какой-то был, пошел и пошел, давай и давай. Откуда что и бралось?! Вроде как чувствовали работу, за живую ее считали, а не так, что лишь бы день оттрубить.

— Тогда ты был помоложе.

— Помоложе-то помоложе... А вот вспомни, как в колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не при-

ходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — и плохое, и хорошее. Правда что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хо-

чешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка — не Надя. Оглянулась — никого нет, покружила вокруг поленницы и моментом юркнула за нее. Михаил подождал, пока Нинка сделает свое дело, и высунулся в дверь:

— Нинка, иди-ка сюда.

— Заче-ем? — испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

— Иди-иди, голубушка, тут все узнаешь.

— Я больше не бу-у-ду.

— Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал.

Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

— Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отвалятся, если ты добежишь куда надо?

— Я больше не бу-у-ду.

— Не бу-у-ду. Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

— Ну, что молчишь?

— Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь, — быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

— Я вот те скажу! — взвился Михаил. — Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты род-

ного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая! — пожаловался он Илье. — От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на нее.

— Тогда не дерись.

— Никто с тобой не дерется — помалкивай. Хотя оно, конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

— Ладно, отпусти ты девчонку, — пожалел Нинку Илья. — Она больше не будет.

— Будешь, нет?

— Не буду, — проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазенки сразу забегали по сторонам, схватывая все, что она не успела заметить.

— Ишь, шустрая какая. «Не буду» — и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна принести что-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.

— Ни холеры ты не поняла.

— Я мамке скажу, она даст.

— Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

— Теперь поняла.

— Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам. — Михаил отставил в сторону пустую бутылку.

— Да-а, — навострилась Нинка. — Ты дашь, а сам же и отберешь.

— Не отберу, не отберу. Беги.

— А тогда отобрал.

— Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

— Я свидетель, — хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

— Ну, что тебе? Беги скорее.

— Мне две надо, — Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

— Две дам, только беги, христа ради. — Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до завтрака.

Хлеб — это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и принесла пять яиц вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который Михаил, как нарочно, сразу же умудрился проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а все равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он еще плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвертую, еще недопитую. Карауля ее, девчонка не шла из ба-

ни. Показываться в избе ей не имело никакого интереса еще и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен, Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу. Потом пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами, стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

С бутылкой разговор у мужиков пошел опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за сверхурочную выпивку и сказал:

— А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем — ага. Сам видишь, она уже села. Того и гляди, побежит.

— Это она может, — мотнул головой Михаил.

— Скажи все же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

— Мать у нас еще та фокусница.

— Правда, что смерть свою перехитрила.

— А я тебе так скажу, Илья. Зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю — чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Все равно ведь помрет. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну и надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили — вот и пошло.

— Что уж ты так? — возразил Илья. — Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с нее не будешь, чтоб сегодня духу твоего здесь не было — и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так обойдется. И выйдет все в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

— Как же не приехать?

— Всякое может быть. Вон Татьяна и теперь не едет.

— Татьяна — ага. Она как знала, не торопится.

— В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня еще не приедет, мать с ума сойдет. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне ее увидит, то еще как. Ты не живешь тут, не знаешь.

— Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать, я не знаю, как это называется.

— Ну, если приедет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

— Выпьем — ага, куда денемся?

— А и не приедет, все равно выпьем, — нашелся Михаил. — Все равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

— А что теперь делать? — с задумчивой веселостью поддержал его Илья. — Выливать теперь не будешь.

— Дак а кто нам с тобой позволит ее выливать? Это дело такое.

— Теперь хочешь не хочешь, надо пить.

— Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем—почему же не хочешь? Раз надо—выпьем,— настаивал Михаил. — Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

— Можем. Почему не можем?

— Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что выпивка была рядом, хоть залейся, и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрался. Сначала он почему-то зашел в кладовку. Зашел — и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было приставать с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали по другой причине и брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на нее прав больше, на то они и мужики, но это только у трезвых есть права, а у пьяных они вечно под

сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

— Мамка нехорошая.

— Твою мамку повесить мало, — отозвался еще не остывший от злости Михаил.

— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.

— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ничё не видала, а сама говорит, что видала.

— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся, — предупредил Михаил.

— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

— А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.

— Она нехорошая, — набычилась Нинка.

— Ну так что говорить. У меня к ней претензии, может, побольше твоих.

— Она про вас говорит, что вы загуляли. И говорит, что теперь надолго, — докладывала Нинка. — А про тебя, папка, говорит, что ты пьянчужка, больше никто, и что это ты во всем виноват.

— Ишь что при девчонке болтают, — с горькой укоризной покачал головой Михаил. — Никакого понятия: можно, нельзя... А ты не слушай, — потребовал он от Нинки. — Они там наговорят. Кому ты веришь: нам или им?

— Вам.

— То-то. Нас держись, с нами не пропадешь. А их не слушай.

Мужики снова принялись за бутылку. Нинка, приободренная отцом, терлась тут же, брала у него стакан с водкой, нюхала и фыркала, потом нюхала пустой стакан и тоже фыркала, как ровня, лезла в разговоры и зорко следила за тем, как убывает в бутылке, подбивая мужиков наливать побольше. Михаил жалел ее, не гнал от себя. И, как вышло, правильно делал.

Нинка спросила:

— Папка, а невылитые бутылки в магазине принимают, нет? — Ей пришлось задавать этот вопрос раза три или четыре, потому что Михаил разговаривал с Ильей и ему было не до Нинкиных глупостей.

— Это какие-такие невылитые? — отозвался наконец он.

— Ну, которые не выливаются. Я их выливала, а они не выливаются.

— Что ты из них, интересно, выливала? — Михаил говорил еще туда-сюда.

— А вино.

— Какое вино?

— Пускай не говорит на меня, что это я хлеб украла. Не видала, и пускай не говорит.

— А какое вино ты выливала? — Михаил нагнулся над Нинкой и держал ее в руках, но держал осторожно, ласково, чтобы не вспугнуть.

— Какое, какое! Такое. В бутылках. Только бутылки никак не открываются.

— Где ты их взяла? — спрашивал Михаил и переглядывался с Ильей.

Нинка и не собиралась ничего скрывать, к отцу у нее было сегодня полное расположение.

— Ты мне сам дал, — рассказывала она. — А у нее я сама взяла. Не будет говорить на меня. Не видала — и не говори.

— Так. А где сейчас эти бутылки, которые ты у нее взяла?

— А в муке.

— Где?

— В муке. Они в кладовке спрятанные стояли. Это она их спрятала. Она думала, я не найду, а я вперед ее нашла. Там такая клетка есть, они в клетке стояли. Там еще есть.

— Понятно, — крякнул Михаил. — Все теперь понятно. Не выливаются, говоришь? А ведь вылила бы, — простонал он. — Ты куда их выливала-то? На пол, что ли? — Он спрашивал и жмурился от боли, представляя, как водка, будто какое-нибудь пойло, выплеснутая на пол, впитывается в дерево.

— Нет. Я в муку хотела. Чтоб она мокро не увидала.

Больше Михаил не в силах был играть в жмурки. Грозя Нинке подрагивающим пальцем, он потребовал:

— Чтоб об этих бутылках ни одна душа не узнала. Поняла?

— Поняла.

— Чтоб ни одна душа не узнала, — застряло у Михаила, — Поняла?

— Поняла.

— А то смотри. Скажешь — ой плохо будет.

— Их невылитые все равно не принимают, — попытался смягчить Михаилову суровость Илья.

— Их и вылитые не принимают. Их выпитые принимают. Поняла?

— Поняла.

— Как это ты быстро все понимаешь? Просто завидки берут — до чего толковая девка. А теперь иди. Иди-иди, — выпроваживал Нинку отец. — Гуляй. Нечего тебе тут с мужиками си-

деть. И на носу заруби, что я тебе сказал. Чтоб ни одна душа. Бутылочница нашлась. В куклы играй, а не в бутылки.

Он закрыл за Нинкой дверь и отдышался.

— А ведь она, холера, и правда понесла бы их сдавать. Умишко-то детский. Невылитые — ишь ты! А там за милу душу приняли бы за те же двенадцать копеек. Полной фактурой и за двенадцать копеек. Им-то что, только давай, подноси. Вот холера так холера. И ведь разыскала. Ну оторви-голова растет. Оторви да выбрось.

Нинка тем временем, оглядываясь, выехала на середину двора, оттуда, с безопасного расстояния, пригрозила в сторону бани:

— Папка нехороший.

И отправилась к матери.

6

С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. После того, как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскидывая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей стало намного лучше, и уйти от нее можно было безбоязненно.

Идти на гору Люсе не очень и хотелось, но чем заняться еще, она не нашла. Не сидеть же весь день дома. Сначала, не подумав, она позвала с собой Надю, и та согласилась, но затем сама же и отговорила ее, потому что, во-первых, с ней надо будет вести о чем-то разговоры, к которым Люся не была расположена, а кроме того, оставлять мать на одну Варвару показалось опасным — совершенно беспомощный человек, ни-

чего не сделает. На мужиков рассчитывать больше не приходилось, за ними за самими нужно присматривать, чтобы они чего-нибудь не натворили и не лезли к матери. Пьяных старуха не переносила, и от них ей могло сделаться хуже.

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу, и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу. Не для людей — в лесу она могла никого и не встретить, а для себя, — от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта у Нади нашлась, что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары и сапоги, но Люся отложила их в сторону — это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами. Когда собиралась сюда, думала о другом. Она уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос возвращающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать — ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя как-то по-другому,

чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ею, только знала о ней умом, и это вызывало в ней раздражение и против себя — оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться радостным настроением встречи, и против них, и даже против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать, — именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней, гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом — то, ради чего в выходные она выезжала за город за многие километры. А тут лес вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться — встала и пошла. А грибы — что ж грибы! — они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор, как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах: то, что раньше выглядело большим, значительным,
 теперь приобрело обыкновенные размеры. Нет, гора действительно опустилась. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались

с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыты настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше: ее срезали. Она была не так большая, как крутая, вредная, и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та самая, почти в три человеческих роста канава, в которой по весне громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что за рекой отзывалось эхо. Матери, отпуская ребятишек из дому, сначала наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом — не выкалывать друг другу глаза. Она и в самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Не много было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву старались не трогать, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней — это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность — все меньше и меньше их остается на свете.

Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило дразняще-прелым духом.

И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали — много возни, мало толку, а свозили на него осенью солому. Она, бедная, до самой зимы ходуном ходила от ребятишек. Целыми днями пропадали они в ней, прорывая ходы сообщения, устраивая тайники и жилища, а потом ребята постарше по темноте приводили сюда на готовенькое своих девчонок. Только темнота помогала мало, потому что на березах, нависших над соломой, до петухов сторожили те же самые ребятишки — чтобы не пропустить, кто кого привел. Мало того, самые отчаянные из них, найдя место, где устроилась парочка, имели обыкновение выбрасываться на нее сверху — этакая милая деревенская забава! Но тут уж действительно надо было иметь отчаянную голову и длинные ноги, не то потревоженный парень мог и покалечить.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было, будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Перед второй, затяжной горой машинная до-
100 рога свернула влево, в обход — эту гору срезать было не просто. Люся пошла прямо, по старой, от которой осталась только глубокая тропа, зарос-

шая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Люся вела по колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на траву и стекали на землю. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Как и при всяком разбое, сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья — прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела, что весь берег у реки завален оставшимся после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами — раз, два и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую первобытную радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был один — весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в любое время подбирай и пили разбросанную, уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках, — с неожиданной грустью пожалела Люся. — И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа — дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем

поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, для которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он тоньше слышал и зорче видел, различал; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами и в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье — бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту, как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И, конечно, не обходилось без лиственничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в Пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разбередив десны, материли ее и хватались за курево.

102 Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не

заблудилась ли она? Как можно было заблудиться в трех шагах от деревни? Нет, конечно: вон Касаловка, — поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой, вон впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, Ближняя елань, за ней Вышка, справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла сказать, как зовут острова напротив деревни, и Люся удивилась себе: что это с ней? Казалось, какой-то голос — травяной или ветряной — наносил живущие здесь слова, и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не узнавая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустении, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником, отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились так — не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной да от заброшенной земли исходило пресное, сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле

намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи — значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Точно Люся не знала, что-то около того. Колхоз, можно сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немного, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь — вот они, поля, люди тоже остались, не так-то просто и легко тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, одна из них затем вернулась обратно.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью, без всякого ее обращения к памяти всплыло откуда-то в ней это никому не нужное теперь название и с сиротской призывностью улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, затем уже, после Люси, колхоз переименовывали и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала и не хотела знать.

Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз — богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он по самому скромному счету за-

работает в три раза больше. Удерживать-то удерживали — и криком, и законом, да только плохо получалось.

Пока боролись с одной бедой, подоспела другая — началось объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уж не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины, будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха, — отмахнулась она. — Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских, оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь придет сюда еще. И все-таки та уверенность, с которой она шла в лес, в ней исчезла, легкое прогулочное настроение было испорчено, а как, чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже и захотела: ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже она решила присесть на приме-

ченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась — не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было — была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого что земля помнит ее и, как окончательного суда, ждет ее решения, — ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала», — как оправдание, повторила она и только тут с удивлением осознала, что̀ было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг — она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло совсем и его уже не найти, будто эти минуты могли что-то решить. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик, через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с

ним сталось, а идти по дороге значило заранее выдать себя. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматривает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле — то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород — кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная трава на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что странно и непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед севом, Люсю отправили бороновать это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась, как шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забила зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу — худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним — тоненькую, во что попало одетую девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, стараясь второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед — назад, вперед — назад. Под гору он еще стаскивал борону, но, после того, как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять. Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понукала его, не гнала и чистила борону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем, как стронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую сильную усталость и беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать его вожжами, ничего не добившись, схватила за узду и потянула голову коня вверх — он мотал голо-

вой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку — не столько от злости, сколько от страха, и от страха же стала пинать его во впалый бок, от ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена — видно, без Люси в своем недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет, приласканный проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня, — приговаривала она. — Ты это чё удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Чё там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.

— Ничё нету, — испугалась мать. — У меня ничё нету, Игреня, ничё не взяла. От дура дак дура. А он все понимает, хошь и конь. Ишо бы, Игреня, да не понимал. — Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку. — Он, подимте, не такое в толк брал, чё и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели отдать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтоб не бередить ногу, наливала не цельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал.

Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз и завозил под собой ногами.

— Погоди, Игреня, — заторопилась мать и стала освобождать его от постромок. — Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то — хватит лежать, належался. — Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружинился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: — Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, сразу
110 захотел. Сял и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ничё, ничё. Ох ты, Игреня ты Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу и упрекнула:

— Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же...

— Ага, такой гон...

— Ну и чё? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна — хошь вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддерживала его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала:

— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорела. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

...Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела

вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что оно пришло не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то своей, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и неудовольствие собой, тем, что она поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И даже работала», — неожиданно она различила в себе даже интонацию, с которой полчаса назад произнесла в себе слова, заставившие ее искать это поле. Да, работала — как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала — мало ли в колхозе было дел, особенно в те годы, когда не хватало людей. «И пахала», — добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала — как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, а переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок. Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек — только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Татьяной из Киева.

«Хоть бы приехала сегодня Татьяна», — обрадовалась Люся возможности думать о другом. — А то мать без нее никому покоя не даст. Таньчора да Таньчора. Кроме того, стало бы ясно, что с матерью. Сейчас она только ждет свою Таньчору».

 Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся

день с чистыми резкими краями: воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко, неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была глухой и окаменевшей, лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе белесоватым, березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было высокое, легкое, но синь на нем уже отцветала, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге — так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего и все-таки не могла отделаться от непонятно откуда берущейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие, гадающее о том, что может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя — тогда то, ради чего ее увели из дома, произойдет сразу же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать, бежать со всех ног до са-

мой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, в окаменевших комках, и воздух над ней, казалось, ссохся — до того Люсе стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться; только сейчас Люся поняла, что на эту дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь все равно что узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, и коридор этот приведет ее совсем не туда, куда ей хочется. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, все время находясь во власти какого-то до странности ясного и тревожного оцепенения: что-то будет, что-то произойдет?

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. С недоумением, почти страхом смотрела она на эту живую, шевелящуюся кочку — почему муравейник здесь, не в стороне? Как она, Люся, пройдет? Что ей делать? Или теперь можно повернуть обратно? Она обернулась и ничего не увидела позади себя, все было смыто солнцем, и его яркий широкий свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о стены, она попробовала пройти по краю муравейника на свободную дорогу и прошла — ничто ее не остановило. Люся обрадовалась. Она обрадовалась так, что смогла улыбнуться.

 «Что это я?! — стала успокаивать она себя. — Чего я так испугалась? Разве может здесь, где на многие километры кругом я знаю каждый кус-

тик, со мной что-нибудь случиться? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и — на тебе! — поддалась каким-то глупым детским страхам. Это все нервы, нервы — надо лечить их. Здесь у меня все родное — чего здесь бояться? Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать рыжики. А потом обратно в деревню. Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, уверенней, до лесу оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, протестуя против нее, воздух пронзил далекий и тонкий, сильно избывшийся, но все еще слышный, отчаянный крик:

— Минька-а-а!

Люся вздрогнула; она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом, повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и куст с тех пор разросся, отвоевал себе у пашни землю, стал давать урожаи. Повинуясь первому, невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле, живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели совсем бедно: самые лучшие ветки с них были оборваны. Сохранилась лишь боковая, податливая поросль, до которой можно дотянуться рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь

человеку, голые пни, от которых гнулись в сторону уцелевшие кусты. Кое-где на них еще висели ягодки.

Люся сорвала несколько — они были мягкие, сладко-прохладные, как и раньше, с мятой на вкус, и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась — никого, но все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

...Это случилось тоже сразу после войны — жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие таежные деревеньки незнакомый в этих краях страх: там ограбили магазин, там изнасиловали и убили бабу, там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но власовцы успевали творить свои дела, когда их не ждали, и спокойно уходили дальше. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; когда их везли в район, полюбоваться на них высыпала вся деревня. Они сидели в телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые и смотрели на людей с усталым вызовом, не отвечая на выкрики из толпы и на команды верхового конвоира из мужиков, решившего при народе покуражиться над арестантами.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, затем слухи о них затихали, и деревенская жизнь снова входила в свою привычную колею;

бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку — хоть на колхозную работу, хоть по ягоды, по грибы, словно для беглецов, как для клещей,

существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, когда о власовцах потихоньку стали забывать, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверное, она заприметила его еще раньше, по весне, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он буквально ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, сам он от тяжести пригнулся к земле, спрятался — оттого и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил брать ягоду, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи и тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных и чистых, без листа, тяжелых гроздьях, которые под пальцами легко осыпались, стекая в ладони теплой и мягкой струей. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и освобождала его только тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь — и в ведре сразу прибавится на добрую четверть. За каких-нибудь два часа они до краев наполнили свои посудины, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день не хотелось. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту наткнуться на него может кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаила разморило, и он тянулся в гору кое-как; Люся не стала ждать его и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и

на землю с него спрыгнул какой-то незнакомый страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами, страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и вместо того, чтобы кинуться от него, застыла, как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным небритым лицом, глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, широко и удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полней и сытнее была потом победа — перед тем, как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И вновь Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее проняла дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся, ее не отпустят.

Человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем — она попятилась. Скорчив обиженное лицо, он развел руки: что, мол, еще за фокусы! — и осторожно, словно стараясь не вспугнуть, пошел на нее: на лице его, скошенном от волнения в одну сторону, прыгала короткая, жесткая улыбка.

И тут Люся, наконец, бросилась бежать.

Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги заплетались в хлебах и вязли

в мягкой земле, теперь догонял ее — она уже слышала за своей спиной его резкое, всхрапистое

дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться и выпустила ведро — громыхая, оно покатилось за ней по дороге.

— Минька-а-а!

Она закричала и в тот же миг увидела впереди фигуру брата. Ничего не понимая, он остановился, но уже в следующее мгновение рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и пристопорил, он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо брата, крикнув, чтобы он бежал вслед за ней, но, оглянувшись, увидела, что он остался. Человек к этому времени успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

— Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а-а! — приплясывая на дороге, надрывалась Люся.

Михаил схватил с земли камень и приготовился. Человек присел и тут же быстро, как для прыжка, выпрямился — Михаил, не выдержав, отскочил назад. Человек засмеялся. Он попытался снова испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и в самом деле бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону: нарочито припадая на одну ногу, он лениво, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками и обижать маленьких, побежал через все поле к Нижней речке.

Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело тро-

нувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках, как о слабом, но еще возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего неизвестно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного, может быть, от воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново — для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки — вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.

Люся остановилась. Неправда. Здесь никого нет, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день,

эта тревога пуста: просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого: солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Одна, одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», — твердила она. Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла?» — мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла... Вот оно, наконец, то, что, не открываясь, с самого начала сегодня томило ее молчаливой давней обидой, помимо ее желания, не давая свернуть в сторону ни на шаг, вело Люсю по местам, которыми ярче всего была отмечена ее прежняя деревенская жизнь, — вело до тех пор, пока Люся не призналась: забыла. В самом деле, там, в городе, она за последние годы все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, — забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала... Да, боронила, пахала — подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уже этим-то можно бы и гордиться, едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они затвердели, слежались в одном отринутом неподвиж-

ном комке, затолканном в дальний тыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.

И вот сегодня они ожили. К Люсе явилось запоздалое чувство стыда, будто всякий раз при этом ее тыкали носом: помни, помни, помни.., а она не понимала, что с ней делают. Она чего-то боялась. Теперь страх пропал, и после него не осталось совсем ничего, одна тяжелая, гнетущая пустота, которую, казалось, ничто уже никогда не заполнит.

Со слабым удивлением Люся поймала себя на том, что она еще шевелится, откуда-то находит силы, чтобы переставлять ноги.

Лес вокруг полей раздвинулся, встав на свое место, и застыл. Солнце уже не было таким ярким и слепящим, как ей почудилось еще совсем недавно. Все вокруг словно отвернулось от нее, перестало замечать, потеряло к ней всякий интерес, никто, кроме нее самой, не подозревал о существовании ее. И только она все шла и шла.

Наконец, она добралась до пустошки и у края ее остановилась. В пустошке было светло и тихо. С высоких сосен, кружась и играя в густом воздухе, медленно опадали иголки: их чистый, волнующий шелест переходил из стороны в сторону, звучал то слева, то справа. Между деревьями белым ударным дымком тлела паутина, причудливыми пятнами и полосами лежало на земле солнце. Где-то в глубине весело и часто стучал дятел.

Дальше Люся идти не посмела. «Я буду приезжать сюда»,—перед кем-то для чего-то оправдываясь и кому-то обещая, подумала она, но уже знала, что не приедет, все сделает для того, чтобы не приехать. Торопясь, она повернула обратно. «Скорей, скорей», — подгоняла она себя, все

убыстряя и убыстряя шаг. И только перед самой деревней перевела дух и успокоилась.

Но потом, поздним вечером, после всего того, что случилось еще в этот день, когда Люся вышла на улицу и увидела рясное, как нигде, в звездах небо, ей снова стало не по себе. И снова она, торопясь, укрылась в избе.

7

Наконец-то, к старухе пришла долгожданная Мирониха.

Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот — как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой — хоть плачь.

Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:

— Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?

Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.

— Дак видишь, живая. Вторые дни уж, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?

Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.

— Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней. — Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза уж измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь, — с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха. — Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.

— А ты и вправду запинашь, с тебя чё взять.

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму.

— Не присбиривай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.

— Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, чё ли. Ослобонилась бы я от тебя.

— Ишо плакать, девка, будешь, как помру.

— Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?

— И то правда, — согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы — чего доброго! — не
 договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не свя-

зываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди — выкатит слово не для ушей и не поперхнется.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур жила бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю жизнь была жадной и все-таки сберeглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное — на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, готовая в любую минуту пустить их в дело; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой другой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре — больше.

С приходом Миронихи старуха повеселела: посветлели глаза, в которых обозначились блекло-карие кружочки, в лице появился интерес — что-то принесла Мирониха, что-то она расскажет? Столько не видались, а жизнь без остановок шла вперед, жизнь вон какая широкая, на все города и деревни, на всех людей ее достает, и все сходится ровно-ровно, без остатка. До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему и не по-нашему — язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут. Старуха любила слушать старинные песни и посылала Нинку за Мирони-

хой, чтобы слушать вместе, но их пели редко, все больше чем-то бренчали. От ранешних протяжных песен она будто взлетала на крыльях над землей и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые еще не нашли успокоения. И тогда ей не жалко было умереть, ей чудилось, что эти песни поют у кого-то на поминках, после того как снесли в землю гроб, и она про себя подтягивала им, провожая незнакомую освободившуюся душу, которую не иначе как и встречать на том свете будут таким же старинным пением.

В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость — поговорить с Миронихой.

— Ты пошто к мине долго не шла-то? — упрекнула ее старуха. — Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела.

— Я уж и так, старуня, обезножела, — качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирониха. — Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не идет.

— Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?

— Когда бы я сама знала — где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, чё ли, блудит, а тут сердце не на месте. Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?

— Ничё не слыхала, — опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос. — Чё ты меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне чё скажет? Медведь, говоришь, у Голубева телку задрал?

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала.

— Задрал, задрал, — подтвердила Мирониха. — А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, чё тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вон она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, был и нету. Прямо по воздуху домой прилетел. — Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос. — Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и сёдни полощет, а низовски бабы по воду теперича под наш берег ходют.

— А ты не подсмеивайся, — осудила ее старуха. — Когда сама только сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно не пришел. Он к телке, а я на его, да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зо-

ришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за им явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет.

— У меня твои байки слушать терпения давно-о уж не стало. Ты пошто путем-то, как люди делают, не расскажешь? Он где задрал, в каком месте, телку-то?

— Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пересказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?

— Дак я его пошто не помню? Ну. Я, подимте, ума ишо не решилась.

— Тамака он ее и встренул, под самой под деревней. Они того и гляди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. От и будет округ деревни шастать.

— Будет, будет, — закивала старуха. — Нечего и говореть — будет.

— Я свою страмину не знаю, где искать. Она чё думает, я за ей месяц бегать подрядилась? И так уж сколева перемерила. Живая она, не живая... Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так я на своих палках до горы достану и меня уж к земле тянет.

— Ты за хребет, девка, не бегай. Ты там останешься, я чё без тебя делать буду?

— У меня только об тебе и разговор, — не поддалась Мирониха. — Я ей про корову толкую, а она все никак с себя не слезет.

— Твоя корова и так и эдак тепери молоко потеряла.

— Да уж не про молоко, старуня, печаль. Мне бы хошь саму корову-то на глаза увидать, я бы знала, что ее медведь не съел. А так броди она, сколева ей надо.

— Ох, девка ты девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние силенки на ее изводить. Каку-таку пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ей беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя чё — семеро по лавкам сидят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полеживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак даром ее ондала, только бы не мучиться с ей.

— О-о-о, — с издевкой пропела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она продала и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жисть держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала. Кака-така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко.

Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Миронихой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мученья не может. Да и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, 129
а все хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Миронихой больше от обиды,

почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет. Избавься Мирониха от своей скотины, и тогда они волей-неволей попадали в равное положение, и старухе было бы легче. Она смирилась со своим бессильем, но и в нем ей нужна подруга, да не какая-нибудь, а именно Мирониха, с которой она дружила всю жизнь.

Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнет ими и полетит. Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:

— Изговелась ты у меня, старуня.

— Изговелась, — кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть.

— Ребята-то твои приехали, чё говорят?

— Дак чё говорят... Поглядеть на меня приехали.

— Они тебя, старуня, поди-ка хоронить приехали.

— Ну и похоронют — как им мать не похоронить, — спокойно согласилась старуха, не отводя глаз от окна. будто разговаривала с кем-то оттуда.

— Не забаивайся. Они тебя ждать, чё ли, будут, когда тебя бог приберет?

— А им меня ждать и не надо, — по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть. — Я их задерживать не буду. Им тоже до-

мой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с ними, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне бы только Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей чё. Говорели, вчерась — приедет, — нету. Вчерась говорели сёдни будет, — и тоже нету. Я себе на своей кровати места не нахожу, не знаю, чё и думать.

— Ты, старуня, зря не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А чё зря убиваться. Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперича все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога не ближняя.

— Им меня ждать не придется, — повторила старуха, качая головой. — Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маленько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назадь надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им спо-

добить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.

— Да говори, — потеплела старуха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

— Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, чё я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

— Я тебя не путаю.

— Ну и сиди, не спорь со мной.

— Я, однако, вот чё, — Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. — Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.

— Ты не думай, я быстро провернусь.

— Беги, девка, не оговаривайся.

Старуха опять осталась одна, и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль,

от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой

играло солнце, она сдвинула на него свои ноги, и когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее; вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то, помимо тепла и света, и не могла ни вспомнить, ни найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверное, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну — что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя жизнь, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение.

И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: не обязательно быть здесь, чтобы услышать их повторяющийся, зовущий голос, — повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.

Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит, — ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.

Мирониха сказала:

— У вас, старуня, чё-то баня ходуном ходит.

— Баня? — старуха поставила баню на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.

— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, — хитрила Мирониха. — В ей у вас кто живет, чё ли, кака испидиция?

— Какая, девка, испидиция, чё ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.

— Все, чё ли?

— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

— Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха.

— Мыться?! Ты, девка, как маленькая, ейбогу! — сердилась старуха. — Куды ишо мыться — вторые дни сёдни пошли. Ну. Мыться не

мылись, а уж угостились. Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.

— Вино, чё ли, пьют?

— Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко — не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.

Выспросив все, что могла знать старуха, Мирониха добавила:

— Дак оне тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.

— Степки Харчевникова?

— Будто его голос был.

— А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?

— Однако что, старуня, так.

— Оне пошто так пьют-то? Какая им доспела нужда? Оне ить себя только гробят, боле ничё. В ранешнее время рази так было?

— Не забаивайся. Чё нам говореть про ранешнее время!

— Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну, пьянчужка и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери Голубев не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.

— Так, старуня, так. Понужнули бы их раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Чё хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало.

— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала, — показала старуха на тумбочку, где стояло радио, — дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ничё. Там ее тоже не хвалят.

— Ну и чё что не хвалят. Много оне слушают? Им не говорить надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко, не жалко — со всех надо стребовать, чтоб не изголялись над народом.

— Правда, девка, правда. А то делать какнить, дак никак и будет.

— Я тебе об чем и толкую.

— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.

— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.

— И стыд забыли, правда что. — Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала. — От он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк-пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеиваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась чё понатворил. Смех им. Доведись до меня, я бы со стыда сгорела.

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда.

— Ну. Я тебе, девка, чё хочу рассказать. Напомнила ты мне про стыд. — Старуха подождала, пока наберутся воспоминания и вернут ее в то неблизкое время, откуда донесся знакомый глухой отзвук случившейся жизни. — Это ишо в ту голодовку было, — пояснила она. — Варвара у меня тогда уж в девках ходила, помогала, и Илька тоже большенький вырос: там схватит да здесь урвет, и ничё, живой. От Люся, та не дай бог

болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддержать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо ползала. Или пошла ли — тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маленько надо было? У меня сердце на части разрывалось. Чё тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала. — Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом: — Твои-то не сулятся ноне приехать?

— Ничё не пишут.

— Моить, без письма приедут?

— Не знаю, старуня. Помру — приедут.

— Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя — о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то грузà на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учился, от его тоже никакой подмоги. Николай с отцом ездил. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком будем. А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на обчий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — чё тут говореть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там

вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится. Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мне жалко ее станет, я загородку открою да впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог.

И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под колхозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала и дверку за собой закрывала. Голову поворачиваю — Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить уж большенькая была, знала, что Зорька не наша корова. Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. Я ить, девка, после того, извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.

— Ребенок была, а память-то, подимте, одна. Запало и все.

— А хошь и помнит — чё с того? Лучше было бы, когда бы она с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя мыть? Мало их, чё ли, в тот раз помёрло? А ты своих выходила.

— Оно и не лучше было бы, а и так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут хуже воровства вышло.

— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть.

Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на подушку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.

— Не видать? — спросила старуха.

— Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она чё думает, у меня терпение каменное, чё ли?

— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится.

— Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо и в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я изза ее не человек.

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:

— Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.

— Не забаивайся, старуня.

— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколь не выходю. Все тут, все тут, на одном месте. — Не гля-

дя на Мирониху, она сказала о ней и о себе: — Зажились мы с тобой, девка.

— Пошто зажились?

— А куды нам было столь жить? Пускай бы давно померли, как бы хорошо было. Ты бы сичас не искала свою корову, я бы не лежала тут, не думала, что хошь бы Мирониха не убежала, посидела ишо, а то мне одной опеть будет тоскливо. Это мне сам бог дал тебя, Мирониха. Он, он. Как бы я без тебя жила?

Старуха закрыла глаза и, соглашаясь, кивнула своим словам, себе и Миронихе. Глаза у нее не открывались, она осталась одна, забыв обо всем на свете и потерявшись не то во сне, не то в дремотном облегчающем покое. Карауля ее, Мирониха сидела рядом и думала о том, что хорошо бы им со старухой умереть в один час, чтобы никому не оставаться на потом. Она еще долго сидела возле старухи — пока не пришла Варвара.

8

— Ты расскажи, расскажи, Степан, как ты тещу обхитрил, — уговаривал Михаил длинного рыжего мужика Степана Харчевникова, который ему и Илье составил в бане компанию все за тем же горько-сладким занятием. — Расскажи Илье, а то он не слыхал. — Михаил ронял голову и морщил лицо в смехе. — Давай, Степан, начинай.

В бане после Нинки снова завелись пустые бутылки. С закуской теперь стало легче, Михаилу больше не страшны были ни сатана и ни жена, он сделал два захода в избу и запасся даже супом, который без ложек приходилось прихлебывать из кастрюли через край. Вынес он и при-

прятанные Нинкой в муке бутылки и все их, как дрова, сложил в печку, куда никому не придет в голову заглядывать, а ящик приспособил себе под сиденье.

Он был все так же босиком, забыв за более важными делами обуться, и подсовывал ноги под постель, на которой ночью спал Илья. Сейчас Илья нес дежурство за курятником, командовал парадом.

— Давай, Степан, рассказывай, — пристал Михаил.

— А я слышу, говорят, Илья приехал, — объяснял Степан свое появление, хотя уже не один раз успел с ними выпить. — Думаю, во всяком разе надо Илью повидать. Одногодки же, вместе по деревне бегали, хулиганство творили. — Степан раскинул на всю баню руки, показывая, что не повидать Илью ему никак было нельзя. Голос у него жесткий и малоподвижный, оттого он и помогает ему руками. — Ну и пошел. Да чуть было не промахнулся. Я-то прямым ходом в избу двигаю, на баню не гляжу. Некультурный человек. Уж в последний момент смекнул: ну-ка, что там за собрание?

— И правильно сделал, что пришел, — одобрительно сказал Илья. — А у нас, сам знаешь, мать лежит, от нее никуда не уйдешь. Ну, мы тут и устроились, чтобы, значит, в случае чего рядом с матерью находиться.

— Это ты, Степан, очень даже правильно сделал, — подтвердил Михаил. — Выпили и еще выпьем. Ты не думай, у нас есть что выпить — вон, полная печка. И все такая же, белая, крепкая.

— Тебе, однако, уж очень даже хватит, — поддел его Степан. — Как бы ты очень даже пьяным не сделался.

— Нет, Степан, ты почему так говоришь? Ты пришел, я тебя встретил как гостя. Ты вот брата моего Ильи товарищ, мне тоже вроде как товарищ, в одной деревне живем. Мы с тобой никогда не ругались, ничего такого, наоборот, даже выпивали вместе. И ты мне такую непотребность говоришь. Вроде я совсем пьяный. Нет, Степан, я еще выпью, я свою норму знаю. А если что, я и сверх нормы могу — почему нет? Вы вот встретились, а мне тоже интересно с вами посидеть, поговорить. А ты вроде как спать меня укладываешь. Я вроде и посидеть не могу.

— Да сиди, сиди. Ты здесь хозяин — как я могу над тобой распоряжаться?

— Ты, Степан, лучше бы рассказал, как с тещей-то дело обстояло, — вспомнил опять Михаил. — Как ты, значит, тещу свою, тетку Лизавету, перехитрил.

— Да что рассказывать! Уж вся деревня, почитай, знает.

— Деревня пускай знает, а брат мой Илья не знает. Он из города, ты ему расскажи.

— Рассказать можно, язык не отвалится, — как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился Степан и неожиданно весело подмигнул в сторону бутылки. — Только сначала надо, однако, горло промочить, чтоб надежней было.

Промочили, и Степан сам, без напоминания, сказал:

— Слушай, Илья, раз так.

— Слушаю, слушаю — ага.

— Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас их тут по домашности происходит. Это вот летом было. Выпили мы так же с

Генкой Сусловым, только не в бане, нет, а у него в огороде, его баба отправила туда картошку окучивать. Ну, мы, значит, в борозде пристроились и давай окучивать. А бутылки-то я принес, я ему еще с зимы за сено был должен. Думаю, что это я рубли понесу, еще не возьмет, прихвачу-ка я лучше две пол-литры. Взял, прихожу, а мне говорят, Генка в огороде. В огороде, так в огороде, мне безразлично. Я туда. Генка на мои пол-литры посмотрел и сразу тяпку черенком в землю. Понял, значит, для какой цели я их приволок. Конечно, картошку окучивать или выпивать? — Степан развел руки и брезгливо встряхнул их, показывая, что такого вопроса для них не существовало. Он быстро увлекся и рассказывал с явным удовольствием. — Ну, сидим мы. За стаканом нам соседский мальчишка сбегал, Генка с гряды огуречных зародышков в карман нарвал, потом еще раз ходил — все есть. Сидим, стакан от одного к другому, как мячик, гоняем. Некультурные люди. Некультурные люди, а хорошо. Я к этому делу с полным моим интересом, я и шел выпивать, а Генка, правда, из дому снарядился картошку окучивать, у него другая была цель. Ладно, картошка стоит. Додавили мы бутылки, Генка говорит: «Я сейчас маленько еще потяпаю, чтоб баба завтра не сомневалась, а потом мы с тобой в деревню пойдем». Ладно, думаю, тяпай, я погляжу. Он мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волосы завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем, — говорит, — в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы

и пошли, у меня еще деньги в кармане были. — Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес: «Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило».

— Это бывает, — с радостным смешком подтвердил Михаил, вскидывая голову. — Это такое дело. Ты дальше, дальше рассказывай. Ты, Илья, дальше слушай.

— А что дальше! Дальше известно, что. Очухался, как после атомной бомбежки, а сам еще глаза не открываю, прикидываю про себя: какой это день — тот, в который мы с Генкой картошку тяпали, или уж другой, и где я — дома, не дома? Ладно. Глаза потихоньку раскрыл — баба моя рядом лежит. Я ее сразу узнал. На другой кровати ребятишки — тоже мои. А там и теща со своего угла глаз на меня целит. Пообсмотрелся я и думаю: надо, однако, на ноги подняться. Только пошевелился, а теща, как кошка, прыг со своей лежанки. Я никакого значения ей не даю, подымаюсь, я только потом и сообразил, с какой целью она планировала меня опередить. Она, язва, и шагу, чтоб не во вред мне, не сделает, у нас с ней с первого дня партизанская война идет. Ей волю дай, она бы уж давно с самой низкой целью голову мне топором отрубила и даже не перекрестилась. Некультурный человек.

Поднялся я и пошел к Генке, чтобы, значит, узнать, как он со вчерашнего дня живет. А Генкина баба меня в воротах встретила и говорит: нету Генки. Я знаю, что дома, а она врет, что нету, и ждет, значит, когда я обратно поверну. Да подавись ты своим Генкой, мне-то что! Ему же хуже. Он тобой не опохмелится — понимать должна.

— Это ты очень даже правильно ей сказал, Степан, — удивился Михаил. — Очень даже правильно. Молодец.

— Зашел я еще к Петьке Сорокину, а тот сделал вид, что не пьет и не пил никогда. «Нету, — говорит, — и денег нету». Как будто бы я не отдал ему. Во всяком разе, пришлось мне править домой. А сам знаю, что где-то в подполье у нас самогонка имеет полное право находиться. Баба уже на работе, осталась одна теща. Прихожу — так и есть: она на западню поставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет. Она уж раньше меня сообразила, куда я полезу. Для того ведь только и живет, чтоб мне вредительство творить, другого дела у нее тут нету. Ладно, думаю, переждем, должна же ты с места сдвинуться. Мне бы только успеть в подполье запрыгнуть, меня потом оттуда подъемным краном не вытащишь. А сам виду не подаю, что я заинтересован, хитрость на хитрость у нас пошла. Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. Думаю, долго ты меня будешь мурыжить? Иду на разведку — сидит как прикованная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке некультурной грубостью: «Мне и здесь хорошо». Думаю, как бы сейчас тебя шмякнул, чтоб тебе еще лучше стало. Ну что ты с ней будешь делать? Ясно, что умрет тут, а не уйдет. А возьми я ее да перенеси вместе с прялкой в другое место, крик такой подымет, будто я ее резать хотел. Еще не вытерпишь, да и где-нибудь не так нажмешь, потом отвечать надо. Ладно, думаю, сиди. Сиди и не шевелись, падла

ты такая. — Степан зло погрозил в пол рябым пальцем. — И вот когда у меня обнаружилось безвыходное мое положение, тут-то я и вспомнил, что неправда, я так просто не сдамся. Не хватало еще, чтоб она мне свою политику качала. Я взял из сарая лопату и пошел к Ивану. У нас дом барачного типа, сам помнишь, я на одной половине, Иван на второй. И подполья у нас так же, за моим сразу его, а стеночка меж их совсем пустяшная, я еще в прошлом году две доски спустил, чтоб маленько укрепить ее, а то она уж совсем поползла. Пошел я к Ивану и под тем предлогом, что мне надо с этой стороны поглядеть, залез к нему в подполье. А там что — два раза копнул и готово, лезь. Я и пролез на свою половину — будто тут и был. Пообтряхнулся, пообсмотрелся — вот она, банка с лекарством. И закуска есть. Что мне еще надо? Слышу, теща, сидит, пыхтит. Думаю, сиди, сиди, вот ты мне и пригодилась, никого хоть сюда не пустишь. И не тороплюсь. — Степан весело и ожидающе прищурился. — Так она, теща-то, чуть с ума не сошла, когда я оттуда запел «По долинам и по взгорьям...» Ее будто ветром сдуло. Слышу, только прялка брякнула.

Илья засмеялся, с любопытством вглядываясь в Степана, спросил — не потому, что не поверил сразу, а чтобы доставить удовольствие себе и Степану, продлить в воображении ту прекрасную картину, когда Степан пробрался в подполье:

— Там и выпивал?

— Там, там, — радостно подтвердил за Степана Михаил, счастливый тем, что история понравилась Илье. — Она, значит, наверху караулит, а он снизу, как червяк, из одного подполья в другое. И припал. Это такое дело. Вот за это я Степана очень даже уважаю.

— А песню-то зачем?

— А так. — Плутоватая улыбка на лице Степана стала еще шире. — Для смака. А то она жизнь прожила и не слыхала, как из подполья песни поют. Некультурный человек. Вот что я тебе скажу.

— Ну, даете вы здесь, — с удивлением и завистью покачал головой Илья и опять засмеялся. — Ну, даете.

— Жить-то надо как-то. Вот, значит, и живем. Для разнообразия жизни.

— А потом-то что тебе теща говорит, когда ты из подполья вылез? — допытывался Илья.

— А что мне потом скажешь? Мне потом хоть что говори.

— И жена тоже ничего?

— А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у меня ученая, во сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик он и есть мужик, завсегда его верх обязан быть. — Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, говорил длинно. — Конечно, я не буду врать, что у ней ко мне возражений совсем не имеется. Имеются, особенно вот, как ты сам имеешь полное право догадаться, по части выпивки. Другой раз утром она мне свои возражения прямо в глаза, а если глаза закрыты, то прямо в уши, да громко так, как «руки вверх!», выложит. Ну, конечно, у меня на этот предмет свои, мужицкие, возражения находятся. Я их ей понятным голосом, чтоб зря дискуссию не разводить, обскажу, и опять все в норме.

— Нет, Степан, — тяжело выговаривая слова, не согласился Михаил. — Баба, она, кроме того,
что она баба, она жен-щина. Ее бить нельзя. Твоя или моя там баба, она, кроме того что она твоя

или моя баба, она государственная женщина. Она может в суд подать.

— А я тебе разве говорю про бить? — хмыкнул Степан. — Ты, Михаил, однако, уж не то слышишь. Зачем бить? Бить — это крайняя мера наказания. Как расстрел. Если баба ко мне с пониманием, то и я к ней с пониманием. Во всяком разе я тоже государственный, а не какой-нибудь первобытный человек. Мы вместе с моей бабой в народонаселение нашего государства засчитаны.

— Это ты очень даже правильно говоришь. Когда ты так говоришь, я с тобой очень даже согласный.

— Я, Михаил, понимаю, что наши с тобой бабы в государственном масштабе — это женщины. Что ты мне об этом рассказываешь? Я тоже маломальски грамотный человек, газеты выписываю, читаю.

— Я знаю, ты читаешь, Степан, читаешь.

— Я три газеты выписываю, — обращаясь к Илье, сказал Степан. Илья, поскучнев, кивнул.— Одну маленькую, из нашего района, и две больших — из области и центральную газету «Правда». И все их прочитываю. Есть, которые выписывают так, для бумаги, для хозяйственных потребностей, а я пока газету от начала и до конца не прочитаю, у меня ее никто даже тронуть не смеет. Центральную «Правду» без выходных, каждый день печатают, а я все равно читаю, чтобы, значит, быть в курсе международного и внутреннего положения. Где какой переворот из-за власти или забастовка трудящихся — я уж знаю.

— Это ты очень даже правильно говоришь, — из последних сил тянулся за разговором Михаил. — И перевороты бывают, и забастовки. Я тоже знаю. А в нашей стране баба, она, кроме то-

го, что она баба, она все равно жен-щина. Ее и бабой-то звать почти что нельзя. Для нее это вроде мата, не-уважи-тельно. — Трудные для себя слова Михаил делил на части и, чтобы не сбиться, произносил их с остановкой, только после того, как выяснял, что уже сказано и что осталось сказать. — И ты, Степан, не путай про те страны и про нашу страну. Мы с тобой живем в нашей стране.

— А я думал, не в нашей.

— Нет, нет, Степан, ты не путай.

Степан подмигнул Илье и показал глазами на Михаила: мол, все, готов, бормочет сам не зная что и мешает поговорить нам. Михаил клонился все ниже и ниже, его голова упиралась в колени. Степан не стал отвечать ему — может быть, нужна только минута, чтобы он, не слыша голосов, окончательно утихомирился, тогда его, как мешок, можно будет повалить на постель и спокойно продолжать разговор. Степан пригнулся и остановил взгляд на уровне водки в бутылке, будто хотел удостовериться, не убывает ли она на глазах. Мало ли что — бутылка открыта, всякая тварь может залезть и вылакать, как свою. Его мучила совесть перед раскупоренными и неопорожненными бутылками, для него это было то же самое, что любоваться страданиями недобитого животного; если решил убить, так бей сразу, не тяни. Степан попытался поймать взгляд Ильи, чтобы намекнуть, что хватит им издеваться над бедной бутылкой, но Илья смотрел мимо.

Илья тоже отяжелел от водки и от разговоров, но не в пример Михаилу держался пока твердо. Тот счастливый и краткий момент, когда следовало остановиться с выпивкой, был давно упущен, и жалеть об этом теперь не стоило. Что еще

делать? В самом деле, что делать, пусть кто-нибудь научит. Еще до Степана Илья зашел к матери — она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что сказать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд. Водка, казалось, не брала его, а только добавляла груз к той тяжести, которая отзовется позже — завтра, послезавтра. Когда появился Степан, Илья повеселел, засуетился, но теперь, после того, как все первое, что говорится при встрече, было спрошено и отвечено, а до воспоминаний дело еще не дошло, он опять обмяк, с трудом заставляя себя следить за тем, что происходит вокруг, будто сидел среди этих людей, в том числе и со Степаном, так давно, что они успели порядком надоесть друг другу. С каким удовольствием он бы сейчас закрыл глаза и уснул, но его насторожил Михаил, ему не хотелось выглядеть при Степане так же, как брат, поэтому он старался держаться.

Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня быстро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез — ни курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть. Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только Михаилу было все равно — жара сейчас или клящий мороз.

Степан, вспомнив свой разговор с Михаилом, ворчливо и обиженно сказал:

— Если на то пошло, сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось. А с ней не только в кино ходить, с ней жить надо.

Для жизни мне, к примеру, баба больше подходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности происходит — почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? «Я женщина, я женщина», — передразнил он. Ну, не мужик, все видят, ну и что? На руках тебя за это надо носить, по головке гладить? Ты сначала поимей, за что на руках носят, потом спрашивай. Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в человеческом теле блохе и той известно, и нечего на этом предъявлять свои претензии. Конечно, никто не спорит, мы без них не можем, так жизнь построена. А они без нас могут, что ли? Во всяком разе, еще больше не могут, Как ты, Илья, считаешь? Я говорю, они без нас еще больше не могут, такая у них натура. А во-вторых, у мужика, кроме бабы, в нерабочее время также и другие занятия имеются, а у нее, почитай, нету.

— Это точно — ага, — коротко подтвердил Илья. Мысль о том, что женщина больше нуждается в мужике, чем мужик в женщине, пришлась ему по душе и взбодрила его, на лице у Ильи появилось плутовато-хитрое выражение, как после удачной выходки, о которой еще никто не знает.

Степан покосился на бутылку, вольно или невольно показывая, что одним из главных мужских занятий в нерабочее время, о которых он упомянул, он считает выпивку.

— Я в прошлом году летом в город ездил, —
продолжал он.—Там насмотрелся на этих женщин. И правда, кругом одни женщины, я уж потом на-

рочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинках. Если где встретится, так сердце за нее радуется, что сохранилась, а то ведь скоро мы их, как доисторических мамонтов, будем искать. Она идет, так по ней видно, что у ней и мать была, и бабка, видно, что в жизни человек находится, а то ведь эти, женщины-то, особенно которые помоложе, они все как заводные куклы, одна на другую до того похожи, не отличишь, где какая. Их не рожали, на фабрике делали...

— По ГОСТу, — вставил Илья.

— Как ты говоришь?

— Я говорю, по ГОСТу, по государственному стандарту.

— По нему, однако, и есть. Только у одних выточка получше, у других похуже, больше никакой разницы. И ходят красуются: вот я какая, поглядите на меня. Вот у меня какие ножки, эта правая, эта левая, будто у нее у одной ноги, а у всех костыли. Вот у меня какая вертушка — туда-сюда, туда-сюда, ишь, как красиво — будто никто не знает, для чего человеку это приспособление дадено. Ее, вертушку-то, прятать надо, а она рада ее совсем заголить. Вот сколько я на голове волос накопила, вот какие у меня глаза: я вас в упор не вижу, а вы на меня смотри́те, любуйтесь. Для нее в том и состоит цель жизни, чтобы, значит, себя показывать, я не знаю, как она там дышит, когда ее никто не видит. А чуть чего: ой, у меня нервы, нервная система. И уж руки у нее нервы, и ноги нервы, и это самое место, откуда ноги растут, — тоже сплошь нервы. Я четыре

ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же женщина. Чуть он ей не угодил — она в больницу. При мне каждое утро бе-

гала. Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы». А что конкретно на этой почве болит-то, какое место? «Общая слабость, вам не понять». Где же мне понять... Не слабость у нее там никакая, а слабинка. Делать нечего, вот и уросит, каприз над ним строит. Вот они, женщины. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют, к работе не приспособлены. Скоро уж рожать и то разучатся. Я не знаю... — Степан озабоченно покачал головой. — А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать? В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается. Скажи, Илья.

— А что тут говорить? Правильно.

— Вот он сказал, — Степан кивнул на склоненного в три погибели Михаила, — что их будто и бабами-то называть нельзя, для них это будто оскорбительно. А почему оскорбительно? Что такого плохого в этом слове? Почему я не оскорбляюсь, когда мне говорят, что я мужик? И даже наоборот, назови меня кто мужчиной, это мне уж нехорошо, обидно, будто я не могу быть мужиком, не соответствую на работе или там по домашности. Мужик я и есть мужик — что мне еще надо? Так и баба. Гляди-ка, обидели ее! Вон ваша мать, тетка Анна, всю жизнь бабой прожила и ни на кого не обижалась. Пускай другие попробуют быть такой бабой, как она. Про нее никто, ни один человек худо не скажет, не имеет права. Язык не повернется. — Степан вдруг сразу, как поперхнулся, умолк, его осенило. — Давай, Илья, выпьем за вашу мать, — медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотники следят за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь за себя,

сказал Степан. — Давай, Илья. За тетку Анну не грех и выпить.

— Это оч-чень даже правильно, — неожиданно услышали они голос Михаила. Михаил оторвал с колен голову и точным, прицельным взглядом уставился на бутылку, ожидая, когда ее заставят делать то, что ей положено делать. — За мать-то оч-чень даже надо выпить, — подтвердил он. — Наливай, Илья.

— Мы думали, ты спишь, — покосился на него Степан.

— Я, может, и сплю, но за мать я могу и во сне выпить. Вот так, Степан. Мы для того ее и брали, чтоб за мать пить, больше ни за кого. Илья скажет. — Михаил, качнувшись, хрипло рассмеялся. — А сами забыли. Это ты очень правильно, Степан, сделал, что подсказал нам. — Очень даже правильно. А то мы забыли. Забыли, и все дела. Что ты с нас возьмешь? Пьем просто так, вроде нам и выпить не за кого. Оно, конечно, у нас тут промашка вышла. Мы не рассчитывали за нее за живую пить. Это такое дело. Илья скажет.

— Хватит тебе об этом! — оборвал его Илья.

Михаил осекся, остановил на Илье нездоровый, прищуренный взгляд и медленно выговорил:

— Ну, если хватит, пускай будет хватит. Не нравится, значит.

— Мать у вас хорошая, — примирительно сказал Степан.

— Не умерла, — уже совсем невесело и непонятно, жалуясь или хвастая, произнес Михаил. — Так и не умерла. Живая. Если мне не верите, идите посмотрите сами. — Он потянулся за стаканом, и Степан, боясь, что он упадет, торопливо подал ему свой, а себе взял с курятника. — За

мать до дна! — потребовал Михаил, как всегда, первый выпил и по полу катнул от себя стакан к Илье. Илья подобрал его, и они со Степаном молча чокнулись.

— Ты-то полное право имеешь забыть, маленький был, — обращаясь к Михаилу, сказал потом Степан. Михаил, не слыша, опять оседал, скручивался на своем ящике, и Степан повернулся к Илье. — Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга, тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага, — улыбнулся Илья. — Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом.

— Я бы им посудил! За Дениса-то! Этого только не хватало.

— Что это вы там бормочете? — услыхал их Михаил и потребовал: — Песню. Давайте песню.

— Живучий же ты, Мишка, — удивленно сказал Степан. — Какую тебе еще песню? Может, ту, где медведи задом, значит, трутся об земную ось или там обо что-то еще. Хорошая песня. Как раз для нас с тобой.

— Не-е, — отказался Михаил. — Другую. Русскую народную. — Он приподнял голову и, держа ее на весу, затянул:

Нам бы подали, да мы бы выпили...

Голова его сорвалась и ткнулась в колени. Рыдая, Михаил закончил:

Нам не стали подавать —
мы не стали выпивать.

— Ишь, на что намекает, — ухмыльнулся Степан.

То же самое Михаил пропел еще раз, больше слов он, видно, не знал и, заворочавшись легко и бесшумно, будто кто его снял, повалился с ящика вниз, на постель. Илья со Степаном полюбовались на него. Степан предложил:

— Может, правда споем?

— Давай. Гулять — так с музыкой. — Последняя водка сделала Илью решительней, в его глазах загорелись бесноватые огоньки.

— Только эти, теперешние, которые по радио передают, не будем, — сказал Степан. — Я их не люблю. Они какие-то... Пока поют, забавно, не так забавно, как щекотно, будто с тобой, как с ребенком, кто-то играется. А пропели — помнишь, у ребятишек есть обманка: «А кто слушал, тот дурак». Так и тут. Будто дураком себя выставил, что слушал, больше ничего. Давай уж лучше наши — которые за душу берут, без обмана.

— Может, твою любимую споем?

— Какую мою любимую?

— Ну ту, которую ты теще в подполье пел.

Степан засмеялся:

— А что — можно и с нее начать.

Под взмах Степановой руки они дружно, в голос грянули боевую и заслуженную «По долинам и по взгорьям».

9

Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать так теперь бы приехала, не в Америке

живет, а за три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, пусть выкручивается, как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней, ни духу.

И только старуха ждала не переставая. Она вздрагивала от любого звука за окном и замирала при каждом шорохе у двери. Она не помнила, чтобы за дочерью это водилось, но ей казалось, что Таньчора, попав в избу, может подкрасться и посмотреть на мать тайком и только после того открыться, поэтому она все время держала дверь на прицеле, чтобы поймать дочь, когда та начнет выглядывать. Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смотреть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Старуха не давала им повады, заставляла смотреть — на что ей теперь их было беречь, для какой нужды? Разглядеть Таньчору их еще хватит, а больше ничего и не надо. И только когда глаза от усталости и боли начинали слезиться, старуха прикрывала их, оставляя узенькую щелочку по очереди то в одном глазу, то в другом, в которую можно было подсматривать, и так давала им отдохнуть.

Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожи-

дания оставалось. Старуха понимала, что Таньчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен, а с завтрашним днем ей будет уже не по пути, он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать: пока оставалась надежда, она надеялась и верила, что Таньчора успеет и не допустит того, чтобы мать на нее под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую, время пока есть, и нечего зря изводить себя — приедет, никуда не денется.

Уже далеко после обеда был один момент, когда сердце у старухи заколотилось сильнее, и она поняла его так, что оно почуяло Таньчору, которая теперь совсем близко, на подходе. Старуха встрепенулась, как молоденькая, и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее повернула голову к двери и приготовилась. И правда, послышались шаги, зашевелилась занавеска — вошла Варвара. Своим взбудораженным, несмирившимся умом старуха подумала, что Варвара пришла известить ее о Таньчоре, но та, как нарочно, чтобы подразнить мать, стала рассказывать, кто что в деревне говорит про ее сон. Что с нее взять, Варвара она и есть Варвара. Старуха, не слушая ее, вся подалась

к двери: вот-вот по воздуху донесутся другие шаги и другой голос... вот-вот... Но они задерживались, их не было.

Она сидела так долго, порой теряя себя, забываясь во внимании, и тогда ей казалось, что ее подменил здесь какой-то другой человек, которому все равно, приедет Таньчора или нет, оттого он ничего и не слышит — после этого она заставляла себя слушать еще внимательней. Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело переступала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух и мешают ему отыскать среди всего остального то, что он ищет. Потом вернулась с горы Люся и стала спрашивать у матери, не болит ли у нее что, — старуха замотала головой, ей захотелось, чтобы Люся ушла. Люся и в самом деле скоро перешла в другую комнату и прилегла там на Михайлову кровать — видно, с непривычки наломала ноги и решила дать им отдохнуть.

В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет, Зато приедет, и старуха тоже увидит дочь перед собой. Не надо торопить себя, не надо, все равно не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами легкие руки. Что уж тут говорить... Лежала — ну и лежала бы, если ни на что другое больше не способна.

Она послушалась себя и легла. Теперь бы еще ни о чем не думать, остыть от ожидания, как от боли, всем телом обмякнуть и забыться, оберегая себя в покое для скорой радости. Старуха повернулась в кровати удобнее, чтобы нисколько не чувствовать своего веса, и постаралась поддаться тишине — той благодатной тишине, которая неслышно вынет ее, полегчавшую, из кровати и заворожит далеким-далеким журчанием.

Солнце держалось еще на виду, его золотистый свет был неярким и теплым, и старуха пригрелась от него, а пригревшись, потихоньку усмирилась, помня и не помня себя, зная и не зная, что нужно ей на исходе этого спокойно-ясного дня. Уже в который раз сегодня она задремала, и все чутко, осторожно, сейчас особенно хорошо понимая, что она дремлет, и готовая в любую минуту очнуться; ее сердце, укачав тело, продолжало дежурить, и его внимательные толчки не давали старухе забыться глубоко. И оттого, когда перед ней явилась Таньчора, старуха не поверила: память подсказала ей, что ее глаза закрыты и она не может видеть Таньчору взаправду. Но это был и не сон, потому что она не спала по-настоящему, а все время держалась на половине ко сну — нет, это слабое, измученное видение нарисовало перед ней, отходя, напрасное ожидание, от которого освобождалась усталая голова, и старуха осталась спокойной. Здесь же, в своей светлой, как сумерки, дремоте, она заново подумала о Таньчоре и поняла себя — эти ясные, звенящеприятные мысли рождались сами собой, будто уже готовые шли со стороны, и были ей не в муку, а в утешение. В них она искала все то же — что могло задержать Таньчору? — и нашла. Это было совсем просто. Таньчора, наверное, приехала

не одна — со своим мужиком, а его-то и нельзя было брать с собой. Он у нее военный, а бог, однако, не любит военных — вот он увидал их где-нибудь вместе и остановил, не разобрав, что этот военный Таньчорин, не чужой, и что они торопятся к ней, к старухе. Потом-то, наверное, он сам спохватился и отпустил их с места, но задержка произошла, ничего не поделаешь. Таньчора тут не виновата, это все из-за ее мужика. Но теперь-то они уже близко, вот-вот будут здесь.

Ей стало легче, душа ее вздохнула свободней, и старуха, качнувшись, поднялась в своей невеси еще выше, куда трудно достать посторонним звукам.

Она не видала Таньчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству — и три, и пять, и десять лет для нее не имели разницы и значили одно и то же: давно, дольше всех не была дома Таньчора. Уже после нее приезжала Люся, показался после севера Илья, не говоря уж о Варваре, которая бывает каждый месяц, а Таньчоры все не было и не было. Однажды она написала, что ее мужика переводят служить на новое место, ехать туда почти мимо дома и они по пути обязательно заедут. Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заставила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не

приехала. Ее мужика и правда перебросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они и живут. В другой раз уже из Киева, его хотели перевести куда-то за границу, и Таньчора опять написала, что перед тем ему дадут отпуск и они на прощанье приедут, но в этот раз старухиного зятя отчего-то не тронули совсем и отпуска тоже не дали. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, было бы не сладко.

Вот так оно все и продолжалось до последнего дня.

Таньчора писала не часто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери, и старуха, беря в руки красивый, с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания: сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Таньчора. Но она не торопилась и подолгу рассматривала письмо на свет, изучала картинку и штамп на конверте и только после этого очень осторожно распечатывала его, стараясь не повредить конверт, и вынимала исписанный листок. Сама она читать не умела и, не читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в нее душой, зато потом начиналась пора чтения; старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил: она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда всё от слова до слова сходилось, старуха успокаивалась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить

свою радость и увидать Таньчору еще и во сне.

Над письмами, которые приходили от Люси и Ильи, она не имела такой власти. Ей читали их только по разу, а то и совсем не читали, в двух-трех словах передавали то, что в них было, и все, и старухе ничего не оставалось, как обходиться этой малостью. Она догадывалась, что не о всех письмах ей даже говорят, и не потому, что не хотят сказать, а потому, что забывают, не знают, что сказать: просто в них нет ничего такого, что обязательно надо передать матери и ради чего писалось письмо. Люся, как обычно, наказывала: берегите маму, Илья торопливо и как бы в шутку спрашивал: как там мать дышит? — или: как там у матери делишки? — чаще всего на этом и заканчивался интерес к матери, так что пересказать его в и самом деле было не просто. От Люси бывали и длинные, подробные письма, особенно если она перед тем долго не давала о себе знать, в которых матери отводилось больше места и в которых она писала что-нибудь вроде: «Скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте», — это когда старуха отказывалась пить таблетки, говоря, что от старости таблетками не спасешься, — или: «Следите, чтобы мама зимой одевалась лучше», — как будто старуха без нее не знала, что в холода по-летнему не проживешь. Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо было он них, она хотела знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего хозяйства и как вообще можно

без него жить. О себе Люся и Илья писали так мало, что старуха приставала к Наде, которая читала письма, с въедливыми и дотошными вопросами, будто та что-то утаила или по недосмотру пропустила, а Надя терялась, не зная, что отвечать: где она возьмет больше того, что есть в письме? Не будет же выдумывать от себя за Илью, от которого раз в год шли коротенькие, в ладошку, писульки. Читать старухе письма от Ильи и Люси было мучением, и оно обычно доставалось Наде; Михаил на вопрос матери, что пишут, мог отмахнуться: так... ничего — и уходил. Оставалась Надя.

Едва ли старуху до конца устраивали и письма Таньчоры, но им она многое прощала, к ним у нее было особое отношение. Эти письма были специально для старухи — специально для нее Таньчора собиралась их писать и писала, специально для нее их везли и несли, а чтобы не потерялись, на конвертах, на которых рукой Таньчоры было выведено имя матери, ставили важные печати. То, что Таньчора хотела сказать ей, она говорила не через кого-то, а прямо, как бы видя перед собой мать, она не писала «скажите маме», она писала: «мама моя», и это ласково-призывное и одинокое «мама моя» заставляло старуху замирать от счастья и страха; она чувствовала, как от этих слов по ее телу скользят прямые холодные иголки. Старуха не помнила, чтобы Таньчора так называла ее дома — нет, не потому, что не помнила, а потому, что не называла: эти слова не забудет даже самая беспамятная мать. Значит, дочь нашла для нее их уже там, на чужой
 стороне; старуха шепотом, одними губами произносила обращенное к ней «мама моя!» и слышала в нем такой сиротливый стон, такую боль, что

ей становилось жутко и она втихомолку от себя плакала, думая, что не помнит начала слез, и говоря себе, что они пролились совсем по другой причине. Плакать в согласии с собой значило бы смириться со своими страхами, а это было еще хуже, тогда труднее было искать надежду. Надежда идет от бога, думала старуха, потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от черта, навязчивы и грубы — так зачем поддаваться им? Или она не знает, откуда они берутся?

И старуха вдруг светлела, легко, кончиками узких губ произносила те же самые слова и слышала в них только ласку, пронизанную мягким Таньчориным голосом. Потом слова эти повторялись уже без нее, без старухи, без ее губ — одним Таньчориным голосом, звучащим близко и ясно, как наяву, но все тише и тише, наконец они умолкали до полного беззвучия, но старухе и тогда по-прежнему было светло и радостно от их приветливой страсти и силы; она долго и с наслаждением ругала себя, что, как последняя грешница, перед тем услышала в них совсем чужое, не то, что в них есть, и казнилась перед дочерью за свою глухоту.

Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха никогда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару — не на что и жаловаться, но выделяла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскребышем, за которым у старухи никто не шел — поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привыкнув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю. Всегда было так: не успевал подняться на ноги один, появлялся другой, и мать хвата-

лась за него, а переднего отсаживала в сторону — ползи или иди куда хочешь, только не убивайся до смерти и не кричи, теперь и без тебя есть кому кричать. Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привязанная, бежала сбоку и лепетала: мамынька, мамынька. Вот и «мамынька» это — откуда она его взяла? В деревне как будто не было такого слова — разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, мамой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать — «мамынька, мамынька», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот новое — «мама моя!». Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того, как убиваться.

Но то, что Таньчора росла последней, конечно, еще не все. И из последней могла получиться всякая. На нее больше заботы, больше сердца, а она тебе за это больше немилости. Мало ли так бывает. Нет, Таньчора сама по себе была ближе к матери, по своему характеру. Если говорить о характере, то старухин нрав, скорее, переняла Люся — тоже твердая и гордая, мало кому спустит, только твердости и гордости дома у нее хватало на троих. Еще девчонкой была — как надуется, три дня в сторону смотрит, ничем ее не проймешь. Какой теперь стала Люся, старуха не знала — наверное, пообтерлась среди людей, пообломалась острыми краями об острые края, научилась что к чему. С тяжелым характером и жить тяжелей — она грамотная, должна понять, а по ней не похоже, что ей живется тяжело. Спрашивать старуха не хотела, спроси — скажет «хоро-

шо» — и понимай, как знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь родные сестры, а друг до дружки не достать. Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазней и выросла размазней, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову.

Таньчора не была похожа ни на кого из сестер. Она стояла как бы посередке между ними со своим особым характером — мягким и радостным — людским; она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде, а уж если ей приходилось плакать... это про нее, не про кого-нибудь сказано: одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок, — как раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка, — всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в ту сторону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали

все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства. Некому без нее было подсказать песню, ту самую, которая бы не зачахла, не заплелась в траве за бревнами, а, поднятая сильными голосами, обнесла бы своей радостью или печалью деревню от края и до края.

Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места, которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец». — «Это еще пошто?» — удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, а без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет!» Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! — притворно сердилась старуха. — Мелешь чё-то, мелешь, а чё к чему, и сама не помнишь». — «Нет, помню. Ты у нас, правда, молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» — «Я не говорю, что плохие». — «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто — так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, — едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать

пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости». — «Не присбирывай!» — перебивала ее мать. «Я не присбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».

Ее пугали такие разговоры, но они случались не часто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу. И правда — какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет за себя ее дочь.

И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.

В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, ей было не по силам отправиться к дочери, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туде даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь — тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если

смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст — не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья — мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу, без слов, можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.

Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.

Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала — сначала чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.

Ее воротили голоса, она услышала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и уловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку — и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.

Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже доставали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси, не теряясь в темноте, кому-то выговаривал:

— Как вам не стыдно?! Мама чуть живая лежит, а они как с ума сошли!

Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья — собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.

И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:

— Таньчора!

До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:

— Матушка наша проснулась.

— Таньчора! — снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.

— Она еще не приехала, мама. — Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся. — Таньчора еще не приехала, — повторила она, видя, что старуха не понимает.

Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова — голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света, которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:

— Где? Где она?

Она застыла, прислушиваясь, глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.

— Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она, — спокойно сказала ей Люся. — Пойми: мы сами ничего не знаем.

— Ей-богу, матушка, мы ее не видали.—Для пущей верности Варвара прижала руки к груди. — Я врать тебе не буду. Не видали.

— Приедет, — бодро и даже как бы радостно подхватил Илья. Скорей всего, он и в самом деле был рад, что разговор с него и Михаила переместился на другое. — Сегодня не приехала, завтра приедет — ага.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она?

— А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет — сама расскажет.

— Вчерась вы мне так же говорели, а где она? — потерянно, как в бреду, повторила старуха и не услышала себя, потому что слова эти, не найдя ответа в первый раз, вернулись обратно и, входя, виноватым эхом отозвались в ней сами. Что теперь об этом спрашивать? Зачем? Теперь она знала: нет, не приедет. Время, которое было ей отпущено, вышло. Больше ждать ни к чему. Не приехала Таньчора. Не приехала. Так и не увидала ее старуха.

Она опустила голову на подушку и заплакала.

— Ну вот, — хмыкнул Илья. — Начинается.

— Матушка! Матушка! — завозилась Варвара.

В старухе вдруг что-то оборвалось, что-то с коротким стоном лопнуло, и стон этот, не успев заглохнуть, неожиданно переиначился во вче-

рашний звон, запомнившийся ей еще в девичестве и звучащий мягкими благовестными ударами, не прерывающими, а, наоборот, подхватывающими один другой. Старуху потянуло к нему так сильно, что она не могла и думать о том, чтобы сопротивляться. Поначалу идти надо было немного, совсем рядом, но потом звон стал отдаляться, уводя за собой старуху все дальше и дальше, но звучал все так же чисто и ясно, чтобы она не потеряла в него веру и знала, куда двигаться. Она едва помнила, что перед тем ей почему-то было больно и она плакала от какой-то потери, теперь боль утихла и идти за звоном было легко и радостно, теперь старуха плакала от радости, оттого, что все так хорошо кончается.

Старуха плакала, не закрывая лицо и не трогая лежащих по бокам рук. Глаза ее были открыты, из них сочились редкие темные слезы и медленно стекали по лицу. Она плакала неподвижно и молча, без единого звука. Лицо, подставленное под слезы, было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошеломило Варвару, сидевшую возле матери, — она вскрикнула и, наваливаясь на старуху, изо всех сил принялась ее трясти. Подскочила Люся, подошел, заглядывая из-за спин сестер, Илья. Михаил приподнялся и опять опустился на свое место.

Старуха застонала. Люся наконец оторвала от нее Варвару, и старуха повела в сторону головой, умоляя не трогать ее. Чтобы оттеснить от матери сумасшедшую Варвару, Люся присела рядом со старухой, которая пошевелилась сама, своим движением, и отодвинулась от дочерей к стене, ладонью утерев с лица свои молчаливые слезы.

— Ты что это, мать, так пугаешь нас? — сказал Илья, возвращаясь к столу. — Я же тебе говорю: сегодня не приехала, завтра приедет — ага. Подождать надо.

— Мало ли что могло задержать ее, — подхватила Люся и поморщилась, она и сама не верила в то, что говорила, но все-таки продолжала: — В самом деле, подождем, теперь нам торопиться некуда.

Старуха слышала и не слышала их; она слышала слова, которыми они старались ее подбодрить, различала, кто их произносит, чей голос, а то, что было в этих словах, не доходило до ее понятия. Она пропускала их мимо. Она лежала, глядя перед собой невидящими глазами и чувствуя внутри себя горячую пустоту, и помнила, что она лежит тут только потому, что еще не успела умереть. Но больше ничего не держало ее здесь, никакая причина. Теперь оставалось потерпеть, пока душа, жившая все это время в ожидании и надежде, снова станет ясной и примирит старуху со случившейся потерей, облегчит ее от страданий и жалости, чтобы не оставить в себе ничего грешного — ничего, кроме себя. Она не хотела моментального освобождения, зная, что все выйдет так, как и должно быть, что ее судьба и без того уже прикатилась к своему месту, где ей осталось лишь остановиться.

Они говорили и говорили, думая, что матери стало легче и что это они помогли ей своими словами. Она не отвечала им, но частое упоминание Таньчоры, подталкивая старуху раз за разом, постепенно воротило ее оттуда, где она оставалась одна. Ее удивил электрический свет, но он
напомнил ей о свете, в который не уложилась Таньчора и который уже не вернуть и не добыть

никаким электричеством. И сразу же в ней ожила боль. Старуха встрепенулась и увидела их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил... Таньчоры не было. Ее и не могло тут быть.

— С ей чё-то стряслось, — казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только теперь, повторив, испугалась. С ей чё-то стряслось, — громче и настойчивей сказала она. Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

— Ты что это, мама?! — удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся.—Ты что это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

— Омманываете, омманываете. — Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы. — Я знаю, омманываете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не будет завтри. Вы думаете, я совсем из ума выжила, ничё не понимаю. — С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она и в самом деле походила на сумасшедшую. — Да Таньчора первая на крылах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду...

— Перестань, пожалуйста, мама! — прикрикнула Люся. — Ты хоть думаешь, что говоришь?! Никто тебя не обманывает — понимаешь ты или нет? Мы сами не знаем, где твоя Таньчора.

То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, заставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

— Когда с ей чё доспелось, мне ить и на том свете смерти не будет, — жалобно сказала она.

— Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось.

Старуха убрала из-под себя руку и тихонько опустилась на кровать, в свою лежню. Кровь торопливо отливала от ее лица, и лицо на глазах бледнело все больше и больше. В тишине хорошо было слышно, как с тяжелым присвистом дышит Варвара.

— А там, где она тепери живет, там война шла или нет? — Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

— В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от, — с горькой убежденностью закивала себе старуха и запричитала: — Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль тепери выберешься? Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди, — перебил ее Илья. — Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?

— Опять «где она». Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается — ага.

— Ладно, хватит. — Михаил пристукнул ладонью по столу и, качнувшись, поднялся. — Не приедет ваша Таньчора, и нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтоб не приезжала.

Старуха вздрогнула.

— Чё он говорит? — не поверила она.

— Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтоб не приезжала. Незачем ей сюда было ехать.

— Ой, что надела-а-ал? — ахнула Варвара.

— Когда это ты успел дать ей телеграмму? — быстро спросила Люся.

— Как мать проснулась, так и дал.

— Почему в таком случае ты до сих пор молчал?

— С этой пьянкой у меня из головы все вылетело. Забыл.

— А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму?

— Точно помню.

— Может, тебе это тоже по пьянке, как ты выражаешься, приснилось?

— Нет, не приснилось. Отбивал — можете на почте проверить. Разговор сейчас об этом зашел, у меня и всплыло, что отбивал.

— Ну вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось, — обрадовался Илья. — Жива, здорова, чего и нам желает — ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное — не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.

— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии. — Он пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал. — Ты пошто так сделал-то, Михаил?

— Пошто, пошто... Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.

— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то?! — Старуха закашлялась, обида перехватила ей горло. — Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне чё-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне ничё от ее не надо, никаких подарков, ничё — только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала. — Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон. — А ты чё натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.

— В самом деле, какое ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, брать все на себя? — Казалось, Люся уже не спрашивала, а допрашивала, и Михаил сжался. — Ты ведь как будто тогда еще был трезвый — значит, должен был понимать, что делаешь.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека! — подхватила Варвара.

Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

— Он ить нарочно это сделал, — медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. — Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.

— Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать — что ты выдумываешь?!

— Нарочно, нарочно. — Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее. — Ты думаешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Чё с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.

— Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал шаг к старухиной кровати и остановился, потому что Варвара крикнула:

— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.

— Городишь, говоришь? — с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты. — А не помнишь, как ты напужал меня?

— Ничего я не помню.

— Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас теперь только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? — всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял». — «Жили, — говорит, — а тепери нельзя, я сам в газетке читал».

— Это средняя продолжительность жизни у нас в стране, — догадалась Люся. — Это он, наверное, о ней говорил.

— Как это?

— Ну как... Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда

подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто...

— Не надо мне твои девяносто — куда мне их?

— Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?

— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — чё там говореть. Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши рази чё путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» — «Однако правда нету». — От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле напужал. «Не веришь, — говорит, — не верь, вскорости сама увидишь. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюда приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя — я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой — две старухи — то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.

— Ишь, чё творят, ишь чё творят! — всплеснула руками Варвара и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это чё ж такое на белом свете творится?

— Когда я тебе, мать, так говорил? — Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала, и мать послушно опускалась на кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната, поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что рассказала старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил: — Когда я тебе, мать, так говорил?

— Он и не помнит. Ничё не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.

— Правда, не помню.

— Что это такое, Михаил? — Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: — Что это такое! — я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже,
 как называть то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал

право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что — защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.

— Слушай, матушка, слушай, — теребила старуху Варвара. — Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он чё думает — на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.

— В конце концов, можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо — обойдемся.

— А что?! — Михаил вдруг вскипел. — А что — может, кто-нибудь из вас заберет ее к себе?! Мать нашу — может, кто-нибудь заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? — Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся. — Что же вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я негодяй, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? — Он повернулся к Люсе. — Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить? А корову продашь — деньги будут. Матери много не надо — видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил, — что ты стоишь?!

— Ты с ума сошел! — задохнулась Люся. — Ты сумасшедший!

Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу:

— Перестань сейчас же, перестань! Не позорь нас. Уйди!

Он оттолкнул ее:

— Тебя здесь еще не хватало.

— Не слушайте его, не слушайте! — кричала Надя.— Не верьте ему.

Михаил опять засмеялся и почувствовал, как развеселилось в нем терзавшее его похмелье, как от радости оно взвыло и бросилось в пляс.

— Я с ума сошел — все ясно. А матери нельзя находиться с сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь? — весело спросил он у Варвары. — Уж тебе-то корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней, с дочерью всегда лучше, дочь не напьется, не обидит. Ну? Соглашайся, соглашайся — что ты молчишь?

— Да у нас жить негде, — растерялась Варвара. — У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я бы взяла.

— Жить, говоришь, негде? И корову, значит, поставить тоже негде.

— Нет, корову есть где. В стайке.

— Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь — вон она, — он показал на Люсю, — лет через пять или десять приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки. А я ей подвою. Да я и не позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-

человечески. — Он повернулся к Илье. — А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та бу-

дет за ней ухаживать. А то ты все на работе да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас.

— Ты перепил, Михаил, — нервничая, сказал Илья. — Ты сам не помнишь, что делаешь, — ага. Поговорим об этом лучше завтра.

— Неужели ты не понимаешь, что маму сейчас нельзя никуда трогать? — крикнула Люся.

— Значит, никто не желает? — Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами. — Никто. И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно. — Он набрал в легкие воздуха и прошипел: — Тогда идите вы все от меня, знаете куда... И не говорите мне, что я такой да сякой, не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь. Понимать надо.

Он бросился в дверь.

Наступило жуткое, леденящее кровь молчание. И в этом молчании старуха взмолилась:

— Господи, отпусти меня, я пойду. Пошли к мине смерть мою, я готовая.

10

В эту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Таньчора, придется Михаилу давать ей еще

одну телеграмму, чтобы ехала, никуда от этого не денешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно ей не увидать Таньчору. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила — обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Таньчору, и смерть была бы чище и радостней — на это старуха и рассчитывала. Ну да ладно — что теперь душу травить, ее не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит. Пора.

Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет. Улеглись в этот вечер рано, сразу же после позорища, которое учинил Михаил, но уснуть не могли — ворочались, вздыхали. Не так-то просто выкинуть из головы все, что он наговорил, и забыться — это не кнопка, которой включают и выключают электричество: нажал — светло, нажал — темно. Уснула, может, только Нинка, но и та что-то причмокивала во сне — или улеглась с конфеткой во рту, или за день до того натрудила свой язык сладким, что он еще и теперь не найдет себе места.

Старуха много раз думала о смерти и знала ее, как себя. За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью: сначала уснет, как все люди, чтобы не пугать смерть открытыми глазами, потом та тихонько прижмется, снимет с нее короткий мирской сон и даст ей вечный покой.

Это неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за

плечами. Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом.

Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось. Старуха не будет сопротивляться, а та, другая, не станет злиться на нее за то, что она так долго водила ее за собой: она делала это не нарочно и никогда не боялась смерти — разве только по молодости, по глупости, а так всегда почитала ее избавлением от мук и позора. И если она до поры не звала ее, то и гнать от себя тоже не гнала и больше других жить не собиралась — жила, как выходило. А теперь время звать. Хватит.

Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила.

А он-то, бог-то, где был, куда смотрел? Грех, грех, когда ребенок, только-только родившись и не успев разобрать, что с ним, почему он видит в глазах свет и чувствует в животе голод, принужден тут же и потерять себя, не имея за собой даже капли вины, чтобы с ним можно было так обходиться. Зачем тогда его обманывали — рожали? Зачем показали ему белый свет и дали человеческое понятие?

Она и сама похоронила пятерых и уложила их рядом друг с дружкой, чтобы они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишечка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услыхала, что он откинулся, но еще посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок ее толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась — а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, что сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтоб возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человечий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог взял. Но сю-

да эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти, больше, чем он был, — как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех.

Еще троих старухе не пришлось хоронить — этих убила война. И то, что мать не видела их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверное, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась — принесли три похоронных, на каждого по бумажке. Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки: на одной синие чернила, на второй — красные, на третьей — черные.

Так что ей есть от кого уходить и есть к кому уходить. Кроме своих ребят, там у нее отец, мать, сестры, братья. Из большой отцовской семьи она одна задержалась здесь, последний брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому, стояло лето.

Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому времени она уже привыкла обходиться в семье без него. Они

жили друг с дружкой не сказать, что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил: человечью дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил — и отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не проходила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья — и то ему не так, и это не по нему. Чтобы она ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить его попреки, которые сыпались и днем и ночью. Потом дурь вдруг поворачивалась на другой бок: он умолкал и мог не сказать ни слова хоть полгода. Хорошо еще, что дома он находился мало: то уходил на охоту, то уезжал на заработки, то на зиму устраивался возить из города в сельпо грузы, а тогда, до войны, их возили на конях, ездили подолгу.

В его кончине старуху больше всего поразило то, что ему, побывавшему где-то возле самой войны, где смерть поголовно перешла в смертоубийство, удалось воротиться домой и в тишине и покое принять свою собственную смерть. Она нашла в этом для себя тайный знак и сразу примирилась со стариком. «Господи, прости нам прегрешения наши...» — начала она молитву, когда увидела, что он отошел. Она не сказала: его прегрешения, она сказала: наши. И слезы ее, скорбь ее были настоящими. Как-никак он был отцом всех ее ребят — и мертвых, и убитых, и живых.

Что правда, то правда: ей есть к кому уходить и есть от кого уходить.

Она прислушалась: где-то за окном позванивало на скотине ботало, по избе, сталкиваясь вол-

нами, ходило дыхание людей, а спят они или не спят, было не понять. Нет, еще рано, лучше не торопиться.

Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрос и стал понимать, что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло — словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу же увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, по-

даст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая, старуха исчезла. И тогда, ничего не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо — туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут — до следующего раза. Земля сравняется, и наступит утро. Живое утро.

Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видела она в своей жизни? Только одно и знала: ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. Восемьдесят годов, как видно, одному человеку все-таки много, если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить, но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы — все они, подгоняя друг дру-

га, прошли одинаково в спешке: по десять раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась — уже высоко, уже низко, а она все еще не управилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе — вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей», — подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое, а им, сколько ни делай, не видно было ни конца и ни края. Вот так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разная — вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная: одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха еще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь давно уже чиркают электричеством — все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами — смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно.

Но она не жаловалась на свою жизнь, ей никогда бы не пришло это в голову. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна, — двух бы не хватило. А старуха жила не хитро: рожала, работала,

ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела — и все это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому — зато она их слушала, когда доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидеть или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь — не змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил — для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь — своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась — будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением, она не знала, где они сходились и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя, для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем.

Старуха лежала, слушала — слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, томным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой

стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам — и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей.

Она вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца. Он не был пьян от вина, его опьянило удивление, что он, сам почти еще парнишка, стал отцом и принял первое участие в продолжении человеческого рода. Он сказал:

— Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь. — И добавил с затаенностью и горечью провидца: — Вот так оно все и идет.

Он только тогда понял, что вот так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи. И тогда уже он как следует, по-взрослому и наедине сам с собой понял, что он смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба. И это заставило его пойти к матери и сказать ей то, что она знала давным-давно и думала, что он знает тоже.

В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек — это вос-

поминание о ком-нибудь из ребят: здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему, — это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать.

Вся жизнь тут, в этих окошках. Растворяй их и гляди, чем ты, старуха, была богата, какие воспоминания, сохранившись, пошевелят после тебя податливые ягодные кусты на берегу реки, ветки березы на опушке леса или пахнут кому-то в лицо, вызвав в нем смутные и тревожные предчувствия, для которых в нем ничего не было. Только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это еще не твоя жизнь, не твои воспоминания, перейдя в шорохи, в шепоты, в неясные распадающиеся звуки, потревожили ее сон, не твои — чужие.

Старуха пошевелилась, расправляя затекшее тело, и кто-то в той комнате, словно отзываясь ей, прося ее, чтобы она не забыла о нем, зашевелился тоже. Почему-то она подумала, что это ворочается Илья — он сегодня спал в избе.

Вот и Илья... Что ей выбрать о нем из вечной материнской памяти, на что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания должны быть тихие, светлые, согласные; нехорошо, если хоть какая-нибудь горечь, какой-нибудь неверный крик, бывавшие прежде, потревожат эту последнюю прощальную ночь. Скоро, скоро время.

Вот и Илья... Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехонек, а он лез в чужой, самим

есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту.

Но сейчас старухе вспомнилось другое. Илью тоже брали на войну, только уже под конец, и воевать ему не пришлось: пока его там чему-то обучали, война, слава богу, прекратилась. Провожая его, об этом, понятно, еще не знали.

Стоял сухой, ветреный перед зимой день; готовая подвода ждала в ограде, дорожный мешок был уложен, ворота распахнуты — осталось проститься; Илья — маленький, прибитый и одновременно возвышенный отъездом на войну, главный, уже наполовину чужой в эту последнюю минуту — подошел к матери. Она перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хорошо помнит, что он не просто вытерпел его, жалея мать, а принял, согласился, это было у него в глазах, которые дрогнули и на миг засветились надеждой. И старухе сразу стало спокойней за него.

Воспоминание об одном отъезде потянуло за собой другой — они не были похожи, и все-таки, видно, в старухиной памяти всегда находились рядом.

Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было — не продохнуть. Люсю окружили подружки, завидуя ей и жалея ее, возле них же крутилась Таньчора, а старуха одна сидела на низком, вросшем в землю бревне неподалеку от девчонок и тоскливо, покорно караулила, когда над островом покажется пароход-
ный дым. Наконец он показался, но остроглазые девчонки увидели его раньше и сразу подняли

гвалт, завскрикивали, теребя Люсю, что-то наказывая ей, перебивая друг дружку. Старуха сидела молча и подавленно.

Пароход пристал, и Люся торопливо стала совать подружкам руку, последней подала матери. Старуха пожала ее горячую, растерянную ладошку и подтолкнула за плечи — иди, и сама тоже отошла чуть в сторонку от толпы, где бы ее лучше было видно. Трап быстро убрали, пароход зашевелил колесами, оттолкнулся, и Люся вместе с ним отодвинулась от берега, поплыла. Она стояла у борта, за белой металлической решеткой, и махала рукой подружкам — мать она почему-то не видела, хоть старуха два или три раза крикнула ей, а потом, чтобы броситься дочери в глаза, начала, как блажная, подпрыгивать и выбрасывать вверх руки.

Уже с накренившегося борта, готового черпануть воду, пассажиров погнали на другую сторону, уже пошла Люся... Старуха готова была заплакать. И вдруг, оглянувшись в последний раз на берег, Люся оттолкнула парня в тельняшке, который выпроваживал ее со старухиных глаз, бросилась обратно и истово, отчаянно, горько замахала матери сорванным с головы платком. Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы. Старуха кинулась ей навстречу, забрела по колено в воду, но пароход уже разогнался, зашлепал в полную силу, и вслед ему, слепя, подгоняя, превращая его в сияющую игрушку, ударило сзади солнце.

У старухи тогда было такое чувство, что они простились навсегда.

Неожиданно, перебивая ее воспоминания о ребятах, перед ней высветился дальний-дальний день — и тоже с рекой.

Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха — нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода.

Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго, с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что она не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуту на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действа вечной

жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди.

Еще и теперь при воспоминании о том дне у старухи замерло сердце: было, и правда было, бог свидетель.

Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели за то время, которое она прожила на свете, красота совсем нисколько не увяла и не померкла? Можно ли, переплыв на противоположный от деревни берег, где она тогда была, застать ее там хоть раз в том же виде, в той же свежести и радости? Столько всяких на земле перемен — неужели одна она осталась прежней?

Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней.

Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проулке, где Варька, стоя на коленках, щепкой раскапывала землю.

— Ты чё тут делаешь? — спросила ее мать.

— Рою.

— Зачем?

— Тут курица рыла, а собака прибежала и согнала ее. А я увидала. Ты меня не прогонишь?

— Нет, не прогоню.

— Тогда я посижу, порою.

Старуха посмеялась про себя и ушла. Когда Варька воротилась домой, мать поинтересовалась:

— Нашла ты чё-нить там, где копалась?

— А я ничё не искала, я так рыла. Только меня бык бодучий согнал. Иди прогони его и порой.

— Зачем?
— Так. Рой и все. И увидишь.
— Чё увидишь?
— Не знаю. Чё-нибудь увидишь. Интересно.

Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданное желание сесть где-нибудь в поле на корточки и рыть по Варькиному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, и отыскивая то, что никто еще в ней не знает.

Смеются: старый да малый, имея в виду, что один выжил из ума, а второй его еще не нажил. Правильно, старый да малый — только они как следует и способны ежедневно и остро удивляться своему существованию, тому, что окружает их на каждом шагу.

Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах.

Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, неподвижно — все убрано сном, все в его глубоком, колдовском оцепенении.

И старуха, содрогнувшись, решила: пора. Самое время, ночь перевалила на вторую половину, больше ждать нельзя. Сон сейчас крепкий, никто не услышит, не помешает. А ночь веселая — тоже хорошо, она и проводит.

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло. В ней успело шевельнуться и тут же погасло слабое удивле-

ние своей невесомостью, тем, насколько легко, как в воздухе, поддалось движению ее тело. Оно пока еще было тут, с ней, и она слышала, как сердце, обманывая, посылает ему свои токи. Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся.

Глаза у нее все еще были открыты, она попрежнему держала в них мертвенно-бледный лунный свет — последнее, что осталось ей видеть. Пусть он плотнее накроет все, что бывало в глазах раньше, тогда сверху легче будет принять тьму. Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет и всегда имея запас времени впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну сторону, а в следующий не будет ни того, ни другого. После нее останутся на свете ребята, а у самой старухи никого и ничего не останется, даже себя. Интересно, куда денется ее жизнь? Ведь она жила, она помнит, что жила, это было совсем недавно. Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли довела до конца? Ну да, рукавички из нее не сошьешь — это правда. Помянут словом, кивнут в ее сторону, и все — была и быльем поросла. А потом и поминать забудут. Тоже правда. А что ей еще надо? Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку,
 вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадоби-

лась? А оставила после себя другие жизни — хорошо это или плохо? Кто скажет? Кто просветит? Зачем?

Как невнятный, неразборчивый ответ, в дальнем темном углу скрипнуло, и старуха осеклась: это за ней.

И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз. Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно и она не богохульствует. Это было давным-давно, и ночью над землей разразилась гроза — с молнией, с громом, с проливным дождем, вокруг все гремело и полыхало, разверзая небеса, с которых стеной падала вода.

Никогда больше в свете не случалось похожего страха: вполне может быть, что та гроза и убила ее, потому что больше она ничего не помнила, ни до, ни после, только грозу, но и это воспоминание мелькнуло перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.

Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела прогневить этим непрошеным воспоминанием, она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало.

Только теперь старуха закрыла глаза — сразу, не сделав последнего прощального взгляда. Перед глазами в захлопнувшихся створках слева направо поплыли дымные извивающиеся колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать ее перед новым причастием. Она вытянулась и за-

мерла, напрягшись в ожидании первого щекотливого прикосновения, от которого по телу начинает разливаться скорбная и усыпляющая благость. Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не изменилось.

Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала. Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут. Может, смерть думает, что она еще не готова,— пусть знает.

Для верности она простонала еще раз, бередя жалобным и призывным звуком ночную тишину: не бойся, спускайся, я жду тебя.

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а, можно сказать, гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе. Значит, ей теперь и смерти не выйдет? Нет-нет, так не бывает. Не умирает только тот, кто не рождается. Да и причина тут, наверно, все-таки другая. Уж со своим-то делом, для которого она существует на свете, смерть найдет как справиться.

Старуха дышала уже бестолково, тревожно. Только что уверовала, что очистилась от всего, чем живет человек, и вот на тебе, начинай все сначала.

Она одумалась: надо успокоиться, остыть. Что-то, собравшись умереть, она делала не так. Не смерть отступилась от нее, а, скорей всего, она сама помешала смерти и помешала тем, что хотела взять ее работу на себя. Кому это понравится?

Долгих восемьдесят годов та ждала своего единственного праздничного часа, на десять раз перебирала, что за чем пойдет, в каком порядке— у нее свои планы. Разве можно было в них вмешиваться? То-то и оно.

Она решила: надо уснуть. Для того и ночь, чтоб спали. А там, когда старуха не будет ни видеть и ни слышать, смерть подступит к ней смелее, уберет самые больные связи, которые держат старуху с людьми и миром, и тогда, может статься, разбудит, чтоб отойти ей в памяти. Ночи много, но еще не поздно, до утра нетрудно успеть.

Теперь старуха затаилась в постели для того, чтобы погрузить себя в обыкновенный человеческий сон, которым пользовалась в своей жизни тысячи и тысячи раз. Глаза она так и не открыла, только дала им послабление, чтобы они лежали легко, свободно и не помышляли о свете. Это им ни к чему.

Тихонько трогая спиной кровать, она стала укачивать себя, ее губы нашептывали невнятные, под песню, слова, которыми баюкают детей. Она была совсем близко от забытья, ей чудилось, что ее бережно оборачивают мягкие серые материи, в которых она тонет все больше и больше, с удо-

вольствием отдаваясь их приятной мягкой толще и завораживающему шуршанию, но что-то вернуло ее обратно, а потом безжалостно возвращало снова и снова.

Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре настолько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее в него войти. Изза одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, кроме лежания, ни на чем не настаивая, — тогда, быть может, от безделья само собой ее сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и примет ее за свою. Вот хорошо бы.

Надо не торопиться и держаться так, будто времени у нее впереди сколько угодно и ночь только начинается.

Она стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила расходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее почти сразу подхватила сладкая, упоительная волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений — как вдруг бесстыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух. Это было так неожиданно, так некстати, что у старухи сам собой вырвался острый сдавленный стон и раскрылись глаза — она сейчас же захлопнула их, но уже поняла, что поздно, напрасно. Все пропало. Не спаслась. Если спасение даже и было рядом, теперь оно далеко.

Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый — ночь трещала и рва-

лась по всем швам, и ничто на свете не могло вернуть ей покоя.

Все вышло зря. Больше старухе надеяться было не на что.

Уже понимая, что делает, она открыла глаза, и ее охватил стыд. Другого такого позора она не знала: распрощалась, сказала последние слова, утешила себя последними воспоминаниями, застелила глаза мраком и — обратно. Кто же так поступает? Нет, она не испугалась, она никогда этого не боялась, перед собой ей лукавить нечего.

Что до нее, то она умерла, и как, на чью жизнь, на чье дыхание будет пробавляться ее грешное трусливое тело, оставившее в себе способность шевелиться, ей неизвестно.

Ночь гасла, лунный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Петухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло. Все это вошло в старуху само собой, без всякого ее желания или нежелания, как в пустую открытую посудину, забытую не на месте.

Она лежала потерянно и беспомощно, в полном оцепенении, и все на свете ей теперь было безразлично.

Она лежала так долго, до самого утра. А когда взошло утро и в старухину комнату набралось достаточно света, она очнулась и скинула с себя одеяло. Потом села. С отвращением глядя на свои ноги, она натянула на них чулки и сунула в шлепанцы. Все это старуха научилась делать еще вчера. Но сегодняшнее утро не походило на вчерашнее.

Вчера она радовалась наступающему дню, возлагала на него надежды, думала о Таньчоре. И ничего из загаданного не сбылось. Ночь и та отказала ей в спасении, оставила без сна — уж этого-то добра у ней всегда хватало на каждого. На старуху не хватило. Она опостылела всем, никому не нужна — зачем тогда и ей считаться с собой, если никто с ней не считается?

Ухватившись за спинку кровати, старуха попробовала подняться в рост. Ноги под ней подогнулись, но она не пожалела их: раз не захотели умереть, делайте, что вам велят, не прикидывайтесь бедненькими, все равно никто вам не поверит. Повиснув на руках, она выпрямила их и в отчаянном, нечеловеческом усилии заставила сдвинуться с места — идите. Если не умерли — идите, как ходят все живые ноги, и не вздумайте подломиться! И-ди-те! В них заскрипела, застонала каждая косточка, но и это ее не остановило. Скрипите, сколько вам надо, но двигайтесь. Хватит вас слушаться, слушайтесь теперь вы. Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу.

Со стороны, верно, показалось бы, что старуха ползет по стене — она почти лежала на ней, раскинув руки, которые искали, за что бы ухватиться. Через порог она перелезла на четвереньках — иначе его было бы не взять.

У крыльца был еще один порог, пониже, но старуха уже не поднималась — так, на четырех подпорках, как собака, и вылезла на улицу, хоть лай или вой. Силы ее были на исходе, и она коекак, с большим трудом усадила себя на верхнюю ступеньку.

Утро поднималось высокое, ясное, тугое. На небе, особенно в той стороне, которую могла ви-

деть старуха, еще до солнца густо выступила синяя краска, и предутренняя муть утонула в ней. Было рано, но лес уже оправился ото сна, стоял легко и свежо, отличая дерево от дерева, даже поверху зелень не сливалась в одно, а вычерчивалась мягкими живыми линиями. С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю, двигаясь быстрыми, согревающими шагами. И впрямь было прохладно, свежо, с реки доносило настоявшейся за ночь сыростью, в огороде холодно поблескивала на листьях роса. Но утро менялось, двигалось в свою сторону: только что казалось застрявшим, ленивым, серым, а уже высветилось до дня, заиграло, заходило в нетерпеливом, детском ожидании, в небе узкими столбами встали радужные полосы — и правда, скоро после этого на глазах у старухи взошло солнце, и земля счастливо, преданно озарилась.

Старуха и сама не знала, зачем она вылезла на улицу. Может быть, надеялась, что где-нибудь по дороге, не выдержав нагрузки, оборвется сердце и дело тем самым можно будет еще поправить. Нет, не вышло и тут. Выбралась. Она сидела одиноко, стыло, безучастно, смотрела в огород, в лес — на что натыкались глаза — смотрела и ничего не видела, не находила. Она походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна. Но солнцу старуха поддалась; она была в тонкой постельной рубахе и озябла до дрожи, даже скупое, чуть достающее тепло было ей кстати. Не полено — какой-никакой, а человек, тело, оказывается, еще узнает, что холод и что не холод. И все-таки этот день казался ей лишним, чужим, она с самого начала не хотела

и боялась его: если не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то предстоит еще вынести днем. Зря ничего не бывает.

И она сидела, ждала.

В сенях зазвенел подойник — вышла Надя. Она никак не ожидала найти здесь старуху и с испугу подалась назад.

— Мама! — невестка звала ее мамой. — Ты как тут?

Старуха, обернувшись, услышала ее и кивнула: тут.

— Как ты сюда выбралась?! Ты же замерзла. Давай я тебя отведу обратно.

Отказываясь, старуха решительно покачала головой: нет.

— Но как же...

Надя бросилась в избу, но сначала заглянула в старухину кровать — она в самом деле была пустая, и только потом сняла с вешалки и вынесла старухе фуфайку.

— Как же это ты додумалась? — не могла опомниться она. — А все спят, не знают. Может, разбудить их?

— Не надо, — сказала старуха. — Ты иди, дои. Я посижу тут.

До двора Надя раза два или три оглянулась на свекровь — сидит!

Солнце уже оторвалось от леса, вышло в чистый, готовый для него простор, держась чуть справа, как вчера и позавчера, десять и двадцать лет назад.

Оно все еще было неяркое, четкое и не слепило глаза. Росы в огороде, казалось, даже прибавилось, горящими, заманчивыми искрами она блестела повсюду. Деревня просыпалась, над крышами поплыл дым, по улице тяжело и сыто,

содрогая землю, брел скот, хлопали в избах тугие двери, раздавались первые, хорошо слышные поутру голоса.

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, как из-под земли, явилась Мирониха.

По своей привычке смотреть себе под ноги, а не вперед, она чуть не столкнула старуху с крыльца и от удивления присела, всплеснула руками:

— Это, старуня, ты али не ты?

— Я, — сказала ей старуха. Она как будто не обрадовалась даже Миронихе, голос у нее был тусклый, слабый: ее спросили — она ответила.

— Вылезла?

— Вылезла.

— Дак ты, старуня, моить, за хребет сёдни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там сёдни лежит. А она со своей кровати уж он куды ухлестала, на волю.

— Не умерла, — сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — в голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным. — Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет.

— Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю,

выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

— Не забаивайся.

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор; Миронихи ночью с ней не было, она не поймет, а разве можно объяснить, что чувствует человек в смертный час и что чувствует он потом, когда, приняв исповедь, смерть обманывает его. Поэтому старуха спросила:

— Ребяты-то твои ничё не пишут?

— Дак ты только вчерась у меня это спрашивала, — удивилась Мирониха.

— Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали — откуль я знаю?

— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и читать буду. — Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь над одной собой. — Кака-така лихоманка на их напала — письмо мне отправлять?

— Раньше как бывало, — сказала старуха. — Кто где родился, там и пригодился. А тепери никак на месте не держатся. Ездют, ездют, а куды, зачем?

— Ничё мы, старуня, с тобой не понимаем.

— Моить, и не понимаем. Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут — грамотные, толковые, с понятием, чё к чему в мире деется. А мы с тобой заблудилися. Тепери другой век идет, не наш.

— Однако что так, старуня.

— А пошто не так? Так. От помяни мое слово.

 Они помолчали. Мирониха вздохнула и поднялась:

— Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.

— Посиди маненько.

— Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы живут. Делать нечего — надо туды бежать.

— Не дойдешь ты, девка, за хребет.

— Дойду, не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?

— Упадешь ты там.

— Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу — и воды некому подать.

— Ты бы сама им написала.

— А чё им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, старуня, пиши, не пиши... И грамота у нас с тобой одинака. А они, видно, хорошо живут, раз не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы.

— Написали бы.

— То-то и оно.

Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

— Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ничё не выдумывай. А я как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, побормочем.

— Не упади там.

Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удержала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг.

Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не

простилась с Миронихой, со своей единственной во всю жизнь подружкой, что не было у нее того, что есть теперь — чувства полной, ясной и светлой законченности и убранности этой давней и верной дружбы.

Старуха знала: больше они не увидятся.

11

Приходилось жить еще день — лишний, ненужный.

Обратно в избу старуху привела Надя — не привела, а, можно сказать, принесла на руках: ноги под старухой не держали совсем. Опять она лежала в постели, поглядывая перед собой печальными, виноватыми глазами и осторожно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг; ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права — ни смотреть, ни говорить, ни дышать — все было как ворованное. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поохали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна. Заглядывали, правда, часто — то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта понравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню, вместе с последними сообщениями о том, что мать встала на ноги.

Илья к тому времени успел подогреть себя, голова его розово, жарко светилась, распространяя вокруг сияние, глаза вспыхивали внезапной,

отчаянной веселостью. Ему не терпелось что-нибудь делать, в чем-нибудь участвовать, а делать совсем было нечего, поэтому он снова и снова шел к матери и повторял:

— Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать — не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом.

Позже всех к ней зашел Михаил; старуха была одна. Он сел на то же самое место у стола, что и вчера перед скандалом, и закурил, делая быстрые, жадные затяжки. Лицо у него против обычного налилось нездоровой, горячей чернотой, глаза притухли. Он курил и, вздыхая, отдыхиваясь от наваливающейся тяжести, все время посматривал на мать, чего-то ждал, на что-то надеялся.

До старухи достал дым, и она, хватаясь руками за грудь, мучительно закашлялась: сухие, натужные звуки, казалось, раздирали ее горло. Михаил торопливо загасил папиросу и вышел. Они так и не сказали друг другу ни слова.

Но после, когда кашель утих и к старухе пришла Нинка, старуха сразу отозвалась ей. Подняв руку, она стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от этого приятного прикосновения к родному детскому телу душевным теплом — будто гладили ее.

Она даже закрыла глаза — как в минуты особенного удовольствия.

Нинка вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто.

— Пошто так? — очнулась старуха.

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила. Вот и обещалкина.

— Дак ты ей и скажи, чтоб купила.

— Ага. Я ее боюсь. Ты сама скажи.

— Чё ее бояться? Она, подимте, не зверь, не укусит.

— Не укусит, а все равно. Она как посмотрит, так я сразу боюсь. Пускай она не смотрит, я не буду бояться.

— Не присбирывай, чё не следно.

— Давай, я ее позову, а ты ей скажешь, — добивалась Нинка.

— Не надо. Куды тебе ишо конфетки? Ты и так, однако что, вчерась весь рот ими спалила, с утра до вечера сосала.

Нинка обиженно дернулась, вырвалась от старухи.

— Ты сама ее боишься, — поддразнила она. — Если бы не боялась, сказала бы. Бояка ты, больше никто.

Старуха хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, только чуть дрогнули без всякого выражения губы.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала, когда появилась Люся. Открыла глаза. — Люся стоит, смотрит на нее, что-то в ней ищет. Встретившись взглядом с матерью, спросила:

— Как ты себя, мама, чувствуешь?

— Дак ничё, — сказала старуха. Она не знала, что отвечать, ей казалось, что она уже вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или
 плохо, да и раньше, при жизни, мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь и немочь.

— Лучше, чем вчера? — все допытывалась Люся.

— Ты, Люся, помирись с Михаилом, — вдруг попросила старуха. — Помирись. Не надо вам меж собой ругаться. Это я виноватая: накинулась на его. А он не стерпел, его обида взяла. Он тепери сам переживает.

— Его, видите ли, обида взяла, а меня нет, — хмыкнула Люся. — Очень интересно. Он наговорил всем нам гадостей, а я теперь должна за это перед ним извиняться. Что ты выдумываешь, мама? И, пожалуйста, не защищай его, мне сейчас совсем не хочется об этом говорить.

Старуха растерялась.

— Я об ем ничё не говорю, — стала объяснять она. — Я его не оправдываю — не. Он один человек, ты другой. А чё тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать — и твоя, и его. Мне охота, чтоб вы всегда ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит.

— Не надоело тебе об этом, мама? Уже почти здоровый, нормальный человек, даже ходишь, а все о том же. Неужели больше ни о чем нельзя говорить?

Опять принесло Нинку — совсем некстати.

— Иди, погуляй, погуляй покуда, — стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя. — Иди, потом придешь, я тебя ждать буду.

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто, — упираясь, выпалила Нинка и скосила глаза на Люсю.

Старухе ничего не оставалось делать, как спросить:

— Пошто так?

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила, обманула.

— Это еще что такое?! — удивилась Люся. — Ты почему со мной так разговариваешь?

— Я не с тобой разговариваю, я с бабой, и ты не подслушивай.

— А кто это, интересно, тебе дал право называть меня на «ты»? Я тебе подружка, что ли? Ты разве не знаешь, что старших надо называть на «вы»? Никто тебе не объяснил?

— Покайся, — шепнула Нинке старуха.

— Ага, — сказала Нинка и захлюпала носом, готовясь зареветь.

— Не вздумай только плакать, — опередила ее Люся. — Никто в твои слезы не поверит. Какая, оказывается, невоспитанная девочка. Я не люблю невоспитанных. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Смотрите-ка, до чего уж дошло.

— Она боле не будет, — осторожно вставила старуха.

— Подожди, мама. Вот так вы ее и воспитали: боле не будет, и все. А почему она так поступает — пусть ответит. Она вам скоро еще не то покажет — вот увидите. — Люся повернулась к Нинке: — Если они тебе очень нужны, я, конечно, куплю конфет, — сказала она, — но только это будет уже не подарок, а вымогательство. Ты знаешь, что такое вымогательство?

Нинка торопливо кивнула, она своего добилась: купит.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на лю-

дях, в самый удобный момент вынырнув из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти больше люблю.

Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца.

Опять старуха забылась, растерялась сама с собой, а когда очнулась, полкомнаты было залито солнцем. Она стала следить за ним, боясь и хотя, чтобы оно скорей подобралось к кровати. Ей казалось, что сегодня, в этот день, в который она не имела права заступать, ей может открыться то, чего не знают при жизни; старуха во все глаза смотрела на солнце на полу, на его широкое горящее пятно, надеясь увидеть в нем рисунок или услышать голос, которые бы ей что-то разъяснили. Пока ничего не было, но солнце все ближе и ближе подступало к старухе, наползая на кровать справа, где оно выпрямлялось в окне. Старухе вдруг пришло в голову, что солнце может растопить ее, как какую-нибудь рыхлую, прикрытую тряпьем снежную фигуру. Она пригреется от него, приласкается, а сама, не замечая того, начнет все убывать, убывать и убывать, пока не исчезнет совсем. Придут люди, а в кровати никого нет. Они решат, что она опять полезла на улицу. Старуха так и подумала: люди, не делая разницы для своих и чужих.

Солнце наконец поднялось в кровать, и старуха подставила под него руку, набирая тепло для всего тела.

Ей показалось, что вместе с теплом в нее натекает слабость, но старуху она не испугала: слабость была мягкой, приятной. Старухе только не хотелось бы уснуть, пускай все происходит на памяти.

Где-то неподалеку заговорила с кем-то Варвара, и старухе вдруг пало на ум еще одно, что она совсем забыла.

Выдавливая из себя голос, старуха позвала Варвару, но никто ей не ответил: голос был слишком тихим и ушел недалеко. Старуха крикнула еще, на этот раз сильнее. Варвара услышала, пришла.

— Чё тебе, матушка?

— Сядь, — старуха глазами показала на кровать возле себя. Варвара села.

— Чё, матушка?

— Погоди. — Старуха собралась со словами. — Помру я...

— Не говори так, матушка, — запыхтела Варвара.

— Помру я, — повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.

— Чё надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ничё не умеют. Одна надёжа на тебя. Я тебя научу, как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут. — Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — «Ты, лебедушка моя, родима матушка...»

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты, — остановила ее старуха. — Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара утихнет, и начала снова:

— «Ты, лебедушка моя, родима матушка»...

— «Ты, лебедушка моя, родима матушка», — сквозь рыдания повторила за ней Варвара.

— «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

— «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

Старуха села в кровати и, успокаивая, обняла Варвару за плечи. Голос ее стал настойчивей, сильней:

Во котору дальнюю сторонушку?
По дороженьке проезжей,
По дубравушке зеленой,
К матушке божжей церкве,
Ко звону колокольному,
Ко читаньицу духовному,
А из матушки божжей церкви
В матушку сырую землю,
Ко своёму роду-племеню.

День продолжался и продолжался солнечно, тепло, свободно, в воздухе стоял тот особый, с горчинкой, зной, который бывает в начале ясной осени.

Небо, по-прежнему синее, светло-синее сверху, только у самого края за рекой, где вечером заходить солнцу, чуть подернулось дымчатой, безобидной с виду пленкой, выше и левее, выплывая

в небо, висела одинокая прозрачная тучка, слишком игрушечная, чтобы вызывать тревогу,

словно нарочно выпущенная, чтобы ею можно было любоваться.

Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, залитая солнцем, послушно и отрадно лежала земля.

Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну за другой папиросы. К нему подсел Илья, поинтересовался:

— Не опохмелялся сегодня?

Михаил покачал головой.

— А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?

— Слыхал.

— Плясать скоро будет — ага. Вот и возьми ее. — Он засмеялся. — Может, выпьем помаленьку. Тут рядом, далеко ходить не надо.

— Нет, — отказался Михаил. — Хватит. Почудили вчера и хватит.

— Да, ты вчера здорово перебрал. Набрасываться стал на всех на нас. С матерью ругался.

— Я с ней не ругался.

— Она-то на тебя здорово рассердилась — ага. Особенно за Таньчору. Готова была отлупить тебя. Это точно. — Он опять засмеялся и вдруг спросил: — Слушай, а когда это ты отбил Таньчоре телеграмму, чтоб не приезжала? Я же с тобой все эти дни был, никуда от тебя. Когда ты успел?

Михаил щелчком стрельнул от себя окурок, к которому кинулись курицы, и посмотрел брату в глаза.

— А я не отбивал ей никакой телеграммы, — сказал он.

— Как не отбивал?

— Вот так.

— Ты же говорил, что отбивал? Вчера из-за этого весь сыр-бор и разгорелся. Не помнишь, что ли?

— Почему не помню? Помню. А если бы не говорил, ты знаешь, что бы с матерью было? Лучше обмануть, чтоб она не ждала ее.

— Но... Но где же тогда Таньчора?

— Откуда я знаю?

— Вот это да! Вот это фокус так фокус!

— Ты только не выдавай им меня, пусть думают, что отбивал, — торопливо сказал Михаил, потому что от ворот к ним шла Люся. Он опустил голову: сейчас начнется. Припомнит вчерашнее и позавчерашнее, все, что было и не было. Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать ее выговоры тошно — ну их! И без того хоть сбегай куда-нибудь.

— Илья! — начала Люся еще на ходу. Вид у нее был решительный и взволнованный, будто что-то случилось. Она сказала совсем не то, чего боялся Михаил. — Илья, ты знаешь, что сегодня «Ракета»? Скоро уж. А следующая будет только через три дня.

Илья растерянно поднялся:

— И что нам теперь делать?

— Смотри сам. А мне надо ехать. Мне больше оставаться здесь никак нельзя.

— Ехать надо, — кивнул Илья и посмотрел на Михаила. — Мать вроде поправилась.

— Подождали бы, — несмело сказал Михаил.

Ему никто не ответил.

Они вошли в избу все вместе и в старухиной комнате вдруг застыли. Их не заметили. Варвара, склонясь над матерью, почти упав ей на грудь, всхлипывала, а старуха с закрытыми глазами тя-

нула из себя какой-то жуткий, заунывный мотив. Лицо при этом у нее было высветленным, почти торжественным.

Они прислушались и различили слова — ласковые, безнадежные и в то же время как бы вывернутые наизнанку слова, имеющие обратный и единственный смысл:

> Отходила ты у нас полы дубовые.
> Отсидела лавочки брусчатые,
> Отсмотрела окошечки стекольчаты,
> Ты, лебедушка моя, родима матушка.

— Что это у вас тут происходит? — громко и насмешливо спросила Люся. — Что за концерт? Кого это вы хороните?

Варвара и старуха враз смолкли. Варвара вскочила, показала на мать:

— Вот, матушка...

— Видим, что не батюшка, — хохотнул Илья.

— Помру я, — жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же. Ты думаешь, нам это приятно? Всему должна быть мера. У тебя это превратилось в культ, в настоящий культ. Ты ни о чем больше не можешь говорить. Тебе еще жить да жить, а ты все что-то выдумываешь. Так же нельзя.

— До ста лет, мать, чтоб обязательно — ага, — подхватил Илья.

Старуха, уставившись куда-то в стену, молчала.

— Ты же сама понимаешь, мама, что ты почти полностью выздоровела. Ну и живи, радуйся жизни. Будь как все и не хорони себя без смерти. Ты живой, нормальный человек — вот им и будь. — Люся выдержала небольшую паузу и

тем же ласковым голосом сказала: — А нам сегодня надо ехать. Так получается, мама.

— Да вы чё это?! — вскрикнула Варвара.

Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама, — мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась. — Сегодня «Ракета». А следующая будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем.

— Не, не, — простонала старуха.

— Нельзя сёдни от матушки уезжать, нельзя, — кипятилась Варвара. — Вы прямо как неродные. Никто вас не гонит. Сами подумайте. Нельзя.

— Еще хоть день-то подождали бы, — поддержал ее Михаил.

— Мы ведь, мама, не вольные люди: что хочу, то и делаю, — не отвечая им, говорила матери Люся. — Мы на работе. Я бы с удовольствием прожила здесь хоть неделю, но тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на нас. Так надо.

Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

— Помру я, помру. От увидите. Сёдни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ничё боле не надо. Люся! И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.

— Опять ты, мама, о том же. Мы тебе о жизни, ты нам о смерти. Не умрешь ты и не говори, пожалуйста, об этом. Ты у нас будешь жить еще очень долго. Я рада была повидать тебя, но теперь надо ехать. А летом мы опять приедем. Обязательно приедем, обещаем тебе. И тогда уж не наспех, как сейчас, а надолго.

— Что летом! — вмешался Илья. — Не летом, а раньше увидимся. Мать вот как следует на ноги встанет, и можно к нам в гости приехать. Приезжай, мать. В цирк сходим. Я рядом с цирком живу. Клоуны там. Обхохочешься.

— Одним днем раньше, одним позже, — пытался понять Михаил. — Какая разница?

Люся вспылила:

— Я не собираюсь обсуждать с тобой этот вопрос. Наверное, я лучше знаю, есть разница или нет. Или ты по-прежнему считаешь, что мы должны везти маму с собой и для этого обязаны подождать ее?

— Нет, не считаю.

— И на том спасибо.

Они стали собираться. Сборы были торопливые, неловкие. Старуха больше не плакала, она, казалось, оцепенела, лицо ее было безжизненно и покорно. Ей что-то говорили, она не отвечала. Только глаза забыто, потерянно следили за суматохой.

Прибежала Надя, хотела на прощанье накрыть на стол, но ее удержали.

Всем было не до еды. Илья шепнул Михаилу:

— Может, на дорожку выпьем? Посошок — ага.

— Нет, — отказался Михаил. — Не хочу. Хватит.

Варвара все-таки не забыла, вслух сказала Люсе:

— А платье-то?

— Что?

— Платье, которое ты здесь шила. Ты говорила, что отдашь.

Люся достала из сумки уже уложенное раньше платье, брезгливо кинула его Варваре в руки.

В самый последний момент Варвара вдруг заявила:

— Я, однако, тоже поеду. Раз все, то и я. Вместе-то веселей.

— Варвара, — чуть слышно простонала старуха.

— Я, матушка, боюсь, как бы там ребяты без меня избу не спалили. Их одних оставлять никак нельзя. Того и гляди, чё-нибудь без меня натворят.

— Езжай, — махнул рукой Михаил. — Езжайте все.

Стали прощаться. Люся чмокнула мать в щеку, Илья пожал ей руку. Варвара заплакала.

— Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.

— Мать у нас — молодец.

— Я, матушка, скоро приеду. Может, на той неделе.

Михаил пошел их проводить. Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза.

Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба. — Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие, — сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли в усмешке.

Потом вернулся Михаил и подсел к ней на кровать.

— Ничего, мать, — после долгого молчания сказал он и вздохнул. — Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, плохой тебе сын, но уж какой

есть. Переделываться теперь поздно. Лежи, мать, и не думай. Дурак я. Ох, какой я дурак! — простонал он и поднялся.

Старуха слушала, не отвечая, и уже не знала, могла она ответить или нет. Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались.

До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла.

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ



Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то по-

давал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне своё усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии,— отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придет рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают

свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, слов-

но вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он,— повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и

мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв,— говорит он.— Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он при-

ехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял

полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят

под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки, наконец, нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит, — настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча,— подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги,— задумчиво произнес Кузьма.— Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю,— покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель,

и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше,— придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор.— Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней...— Он замялся.— Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

— Чего ж не понять,— откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки, — сказал ревизор.— Ну, осудят ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой, подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей,— сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе,— сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма.— Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию,— ответил председатель.— Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай,— потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу,— сказал председатель.— Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать.— У дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду,— сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она.— Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — исступленно шептала она.— Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он, наконец, вырвался.

— Дура баба,— прохрипел он.— Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — ее голос становился все слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока.

Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто про-

ходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить,— возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка.— Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте,— беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка.— Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, всетаки взять в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Сняв ши голову, по волосам не плачут»,— почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пя-

терка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города,— говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон,— будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обе-
щания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бу-

мажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма,— встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь.— Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой —
 она у него тоже учительница,— зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич.— Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо,— отказался Кузьма.— Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол.— Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать,— замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет,— покачал головой Кузьма.— Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая,— сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич.— Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет.— Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают,— махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич.— Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно,— вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет.— Он опять поморщился.— Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе,—
говорил Евгений Николаевич.— Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи

не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам,— сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала.— Он готов был выбросить Комариху за дверь.— Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони,— затараторила Комариха.— Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь.— Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать,— не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. — Видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму,— сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха.— Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха,— устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то,— заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к
 Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела

она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма,— произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо.

А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу,— всхлипывала она.— Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому,— со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов
 в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады,— зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир...— она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом...

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — полковник недовольно качает головой и даже цокает языком.— Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

 — Вы все шутите,— с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери.— Мне, правда, больше его некуда

девать, все занято.— Уходя, она уже и сама пытается шутить.— Но он с билетом...

— Заходи, заходи, — кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там,— полковник показывает наверх.— Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила,— подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке.— Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у,— понимающе отвечает ему человек в белой майке.— К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции,— человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению,— сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю...— Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде

всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди,— полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку.— Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там,— полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу,— насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-дова-лись? — человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались,— отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший,— говорит полковник.— Так что деревня живет.

— А она всегда живет,— с нажимом, как бы

вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович.— Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни,— заглядывая в окно, возражает человек в белой майке.— Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже,— говорит Геннадий Иванович.— Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он
 объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят

рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит,— особенно если наблюдается улучшение,— лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего. — Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. — Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», — думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим, — говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает.— Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволя-

ём себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, — не сразу сдается Геннадий Иванович. — Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. — Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму:

— Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет, — подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю, — простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивано-

вича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти за своим товарищем, — говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит. — Геннадий Иванович смотрит на часы. — Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас

попросить об одолжении.— Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно,— привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке
 в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло

какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. — Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста. — Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, — говорит преферансист.

— Мне все равно, — безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно, — повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно, — радуется человек в белой майке. — Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить,— говорит он Кузьме. — Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья, — обрачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров, — отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно — нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в рай-

потребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой подоброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне, — отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то

мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только

сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему, — чтобы только отвязаться, — сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием
идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят

у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезла в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза буду глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на

крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор, наконец, приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, — с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал ее, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая, — так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать, сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкарау-

лили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с не-

го глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка. — Вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха.— Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень.— Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отзывается старик.

 Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень ле-

жит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». — «Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши».

Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель. — В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему боль-

ше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную

до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. — Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: пòмочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на пòмочь. А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от

этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. — Дед коротко хохотнул, как кашлянул. — У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед. — Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласить-

ся с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ничего такого и не говорю.

— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты

сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ни-

чем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду, — пообещал Кузьма.

292

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в

деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что

есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит, как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; стар-

ших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше него ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его?
 Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь

не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду. Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду, — он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим

протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?
— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?
— Сама не знаю.
Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.
— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.
— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?
— Сам знаешь зачем.
— Догадываюсь.
— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.
— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.
— В избу заходить будешь?
— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.
Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.
Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:
— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть

надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь, — сказал Василий. — Ты Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она, — заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

— Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. — Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

— Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня господь бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? —
 не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — не смог остановиться сразу Василий. — Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит.

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, — голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет. — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее.

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал Василий. — Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий, — попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тетку Марию жалко, — причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они, наконец, заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра на-

живать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа, — негромко зовет она. — Проснись, Сережа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, то давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о.— Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме,— несердито отвечает старуха. — Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?
— Голову свою замучил.
Парень через силу улыбается.
— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.
— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.
— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. — Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.
Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.
— Ты что, Сережа? — спрашивает она.
— Ничего, ничего.
— Я что-нибудь не так делаю, да?
— Все так. Ты не беспокойся.
— Если не так, ты скажи.
— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.
— Да, да.
Кузьме и приятно слушать их разговор и както неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.
— Сережа, чай, — говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат

его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. — Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай,

деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьезно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда

ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смо-
трите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то

удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один? Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке будет.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень. — Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты, думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. — Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма... — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались.

После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика.— Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже. — Старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. — Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься.— Тут вот... — и протянул Кузьме деньги. — Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды....

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.
— Нет, побегу.
— Дед!
— А?
— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.
— Как так?
— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.
— Раз ты не велишь, не буду.
— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:
— Одевайся, пошли со мной.
— Куда?
— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом

поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, — говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхать теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е. — Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя попрошу. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья,— зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами, и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не

видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не

скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись, ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?
— Пока немного.
— А сколько — можешь сказать?
— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.
— И все?
— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зерно, — после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина

председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли,— будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его
 вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал

дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец, появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с края.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними,

совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. — Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом. — Но тут еще вот какое дело, — повторил он. — Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь. — Председатель повернул голову к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем

теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судили-

ще, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан. Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твердо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен, — недобрым голосом сказал председатель. — Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен, — торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью. — Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. — Что я, грабитель

с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. — Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве...

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, — пригрозил председатель.

— Может, у нее правда не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму, как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и прав-

да деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. — Председатель усмехнулся. — Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уж давно запримечено.

— А ведь и правда, — удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма, — отмахнулся председатель. — Что теперь об этом говорить? Суд, что ли, новый собирать?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк, и теперь, раскрасневшись после
спирта, совсем не походил на председателя: лицо
его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы

Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то подумал бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. — Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. — Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало...— Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так, давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории?

Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри-ка, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич.— Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь. — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет, Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорощо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария ие ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он ие пошел за ией. Он сел иа кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что иа иего кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела иа иего из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухию. Ои почувствовал, что оиа и оттуда продолжает смотреть иа него, словно никак не может припомнить, о чем ои говорил. Он подождал, ио оиа так ни о чем и ие спросила.

Тогда ои разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый деиь наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни—значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точио: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А деиь был сумрачиый, невидный из себя, а такой удачиый, такой богатый! И хорошо,

что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои, — шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крик-

нула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. — Отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз

уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все не просто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком не сладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь

интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — осторожно говорит Кузьма.— Это тебе самому надо решать...

— Ну да. Я знаю, что самому. — Парень от волнения по-детски шмыгает носом. — Черт ее знает... — Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся. — Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем, не торопясь, идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

 Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как

они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и

ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что

этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма, наконец, понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал.

Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты... — без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел
 механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз
нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не смо-

жет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали. — Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно

и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти. Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги.

Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и неве-

стой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можио.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу...

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без деиег. Ни одной копейки ие надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно. — Дед поднес свое лицо вплотиую к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и иа этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму ие брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мие с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну и воро-

ти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тре-

вогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут вся-

кие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже,
слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не

мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он застав-

ляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат, как спасение, из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него, как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

О ПОВЕСТИ В. РАСПУТИНА «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»

Обычная история: в глухой лесной деревушке умирает восьмидесятилетняя старуха. В пору, когда оиа была еще в соку да в силе, женщины, особенно в деревнях, миого рожали, и старуха, Аниа Степановна, не была среди них исключением: она вынянчила, выходила, поставила иа ноги восьмерых да пятерых схороиила в том возрасте, когда, всплакнув чуток, бабы говорили: «бог дал, бог взял», — и несли малеиький гробик на кладбище.

К нынешнему дню, правда, в живых у старухи было только пятеро: троих сыновей у нее взяла война, оставив вместо них бумажки, заполненные черными, красными и фиолетовыми чернилами.

Из пятерых, теперь уже тоже ие молодых, — у каждого своя семья, — в деревне жил один только Михаил, в доме которого и умирала сейчас старуха, а четверо — еще один сыи и три дочери, как и полагается по иынешнему времеии, — в городах: кто в своем, районном, кто подальше, а кто и совсем далеко. Михаил, поняв, что мать совсем плоха и ие сегодия-завтра отойдет, послал брату и сестрам телеграммы — дескать, приезжайте попрощаться, и они скоро

приехали, все, кроме Татьяны, по-старухиному Таньчоры — самой младшенькой, «заскребышка», и, может быть, потому самой любимой.

И случилось чудо: старуха, по словам Михаила, «уже совсем готовая», при виде своих ребят буквально воскресает. Впрочем, для нее-то самой чуда тут и нет никакого: «Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назадь... У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говореть!» Так она объясняет свой «ход назад», понимая, конечно, что это ненадолго — ей бы только Таньчору дождаться, — потому что все в ней уже отжило, кровь «совсем остуднлась», а животишко от беспамятного лежания и вовсе «в узелок завязался».

Но прошел день, потом ночь, потом еще два дня, а Таньчора все не приезжала...

Эти-то три дня последнего свидания старухи со своими ребятами, а точнее — прощания с ними и с жизнью и одновременно ожидания Таньчоры, и составляют событийную сторону повести В. Распутина. Внешне они ничем, вроде бы, и не примечательны, эти дни. Пожалуй, только то в течение их и произошло, что Михаил вместе с приехавшим старшим братом Ильей в первый же день купили ящик водки, ни на минуту не сомневаясь, что водка не сегодня-завтра понадобится («Полдеревни придет. Позориться тоже не охота, у нас мать будто не скупая была»). Но мать в этот день не умерла, не сподобилась и на следующий, пить за упокой, выходило, рано, но и не выпить уже тоже было нельзя, потому что водка стояла наготове, да и повод нашелся — за выздоровление... Однако случай все же был особый, и потому в избе пить не стали, ушли в баню и там, вместе с присоединившимся соседом Степкой Харчевниковым, за два следующих дня этот ящик водки почти и прикончили...

Не очень-то благодарный для писателя материал — пьянство: тут и на фельетон легко сбиться, и в натурализм удариться, — однако В. Распутин с присущим ему писа-

тельским чутьем и тактом избежал как той, так и другой опасности, подчинив и это наиболее заметное событие трех дней главному, глубинному действу — обозрению жизни старухи, Матери, неотступно следя за ее памятью, озаренной предсмертным ясновидением.

Ослабевшая к восьмидесяти годам память вдруг стала возвращать старухе одну за другой забытые в суете да мелочах жизни картины. Каждое слово, услышанное ею то ли от ребят своих, то ли от единственной, оставшейся в живых старопрежней подруженьки Миронихи, о чем-нибудь да напоминает ей.

Намекнула Мирониха, что в бане-то у «старуни» шум и, вроде, Степки-соседа пьяный говор слышен, как старуха с удивлением и осуждением, на какое еще способна, говорит:

«Оне пошто так пьют-то? Какая им доспела нужда? Оне ить себя только гробят, боле ничё... Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали... Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери Голубев не пьет, дак тепери его за человека не считают, что не пьет смешки над им строют...».

Говорит старуха о столь распространившемся в деревне пороке и другие горестные слова, но уже и из этих проглядывает вполне понятное недоумение женщины, ее внутренний протест против этого порока. Кто-то, может, уже и махнул рукой на него и готов почесть за обыденность, пусть и малоприятную, но обыденность, она же — нет...

Именно этим — стойкостью нравственных убеждений, моральной чистотой, идущей от глубин народной жизни, от того самого лучшего, что устоялось в ней, выкристаллизовалось на протяжении веков, и интересен образ старухи в повести В. Распутина. Потрясающа в этом смысле сцена, которую она, припомнив вдруг, рассказывает Миронихе,
 причем рассказывает, как исповедуется, стыдясь еще и теперь, на пороге вечности, своего в общем-то невинного поступка.

А суть его в следующем.

Корова Зорька, недавно отведенная ею на общий, колхозный двор, почти каждый вечер, уже после дойки, по старой памяти приходит к калитке своего дома и мычит-мычит, не́ умея понять случившегося, ревет, словно упрекает свою бывшую хозяйку в бессердечии и измене. И хозяйка не выдерживает — да и какая крестьянка выдержала бы на ее месте! — выносит Зорьке круто посоленную корочку хлеба, а потом, увидев, что вымя у нее грязное — а Зорька не любила, когда у нее грязное вымя, — бежит за теплой водой в избу и, приговаривая что-то ласковое, подмывает вымя... И все бы это еще ничего, если бы она, не подумав вдруг, а хорошо ли Зорька подоена, не взялась за соски... Оказалось, в вымени еще было молоко, и она нациркала почти крынку и обрадовалась очень, потому что год тот был басхлебный, а ребятишки просили есть. И стала она с того дня Зорьку подаивать. Тайком даже от ребят своих. И все-таки не — утаила: вскоре Люся застала ее за этим «поступком». «Я сижу и боюсь подняться, — рассказывает старуха. — Как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз?.. Я ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть».

А вот другая, не менее яркая, относящаяся к лучшим страницам повести сцена. Правда, она дана писателем уже через воспоминания Люси, отправившейся, когда матери стало вроде бы полегче, в поля, где она в первые послевоенные годы — девушкой еще — бывала на разных работах, в том числе и боронила и пахала на стареньком мерине Игреньке, вконец обессилевшем от бескормицы.

«Перед тем, как стронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи».

Нельзя не подивиться художественной точности деталей и психологической глубине этого коротенького отрывка. Та

кое невозможно придумать, такое можно только увидеть, пережить, причем настолько остро, что страдания старой лошади стали как бы уже твоими собственными страданиями, иначе не написалось бы: «в гору он тянул с закрытыми глазами». Он, про которого чуть выше сказано: «худой до того, что, казалось, высохли даже копыта».

И не удивительно, что в конце концов Игренька споткнулся и упал. Маленькая слабосильная Люся не может поднять его. Испуганная, она бежит в деревню, к матери. И вот, запыхавшаяся, Анна уже на коленях перед Игренькой, гладит его «по тонкой, как стесанной шее», приговаривает (послушайте ее речь, очень выразительную, точную не только по слову, но и по жесту, угадывающемуся за ним, и потому так зримо воссоздающую в нашем представлении образ крестьянки): «Ты это чё удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тапери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Чё там зиму — войну мы с тобой пережили... А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь».

Ласковые, сочувствующие, ободряющие слова говорит Анна Игреньке, говорит как человеку, притом самому близкому, родному, с которым довелось разделить пополам столько забот, бед да напастей.

И совершенно не случайно, что героиня повести, крестьянка по всей своей внутренней сути, наиболее ярко и художественно подробно дается писателем именно в ее отношениях к лошади и корове. В. Распутин, хорошо знающий деревню, уклад и быт деревенских людей, понимает, что именно в этих отношениях проявляются наиболее стабильные, непреходящие черты их характеров. А применительно к старухе это верно вдвойне: она родилась в старой деревне, унаследовала все ее обычаи и нравы и

с иими перешагнула в неслыханную доселе артельную жизнь.

Вместе с тем, взаимоотношения эти с большой художественной убедительностью говорят еще н о том, сколь миоготрудиа и, я бы сказал, будиичио-героична была ее жизнь. Это на таких, как оиа, да еще на подростках, как та же Люся, держались колхозы в войну, это они пахалн, сеяли, убирали иа Игреньках, недоедали сами, а мужиков своих на войие кормили.

И, казалось бы, такому человеку, как Аииа, в последиие дни последнего жизиенного срока не зазорно потребовать и большего внимания к себе, а еслн хотнте, и уважеиия, и чести — аи нет... Старуха — она уже трн года как слегла в кровать — озабочеиа одним: как бы ие надоесть сыну и снохе своей старостью. Люся, городская Люся, возмущениая «чериой» простынью под матерью, резко выговаривает за это Михаилу, не догадываясь, что перемеиить простынь ие разрешала сама старуха, и все по той же причиие: ие досадить бы кому своей старостью...

Ну, а чтобы пожаловаться на свою немощь, поплакаться из желания вызвать сочувствие у слушателя, сострадание — этого у иее даже и в мыслях иет. Более того, она стыдится своей немощи! Она бонтся, что Таньчора, приехав неожиданно, застанет ее спящей («сон ведь родня смерти») н ужаснется, и потому, напрягая последние силы, не дает закрыться глазам, заставляет их караулить дверь, в которую в любую минуту может войти Таньчора.

Не только вслух, ио даже и в мыслях старуха ие жалуется на свою судьбу: оиа прожила жизнь так, как могла, ие задумываясь даже, а можно ли было прожить иначе, и уж, конечно, не завидуя никому. Она работала, не ленилась, много рожала и «любила рожать», как пншет автор, не всех ребят сберегла, не все успела, однако совесть ее перед людьмн чиста, ибо долг свой человеческий она исполнила до конца, н в отличие от Люсн, нспытавшей на заброшенном поле горькое чувство вины перед

этим полем, она — мать — этого чувства не ведает.

Обозревая жизнь старухи ее памятью, В. Распутин раскрывается перед нами еще одной замечательной гранью своего дарования — тонким психологизмом. На многих страницах повести рассказ ведется от автора, а мы — и в этом искусство писателя! — слышим как бы речь старухи, почти видим ход ее мыслей:

«... по десять раз на дню задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась — уже высоко, уже низко, а она все еще не управилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе—вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба».

Не могу не привести в подтверждение вышесказанного и еще одну выдержку:

«Старуха лежала, слушала — слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, томным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам — и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей».

Разными выросли ее дети, ее «ребяты». И судьбы у них разные, и характеры. Ей, матери, конечно же, дороги они все. И все же — вот теперь, перед смертью, ей дороже и нужнее всех остальных младшенькая, Таньчора. Она словно для того только и родилась, чтобы выплатить ей, матери, за всех родившихся до нее, полный расчет и лас-

кой, и нежностью, и жалостью, и благодарностью. Словно сама природа, сама Жизнь устами Таньчоры благодарила ее, Женщину, за хорошо исполненный ею материнский долг. Сейчас, на смертном одре, она в подробностях вспоминает, как Таньчора, ублажая ее давнюю привычку, «ножичком царапает ей в голове» и говорит, говорит: «Ты у нас, правда, молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?.. Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто — так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно».

И может быть подсознательно старуха потому и ждет с таким нетерпением Таньчору, — именно ее! — что хочет услышать в последний час слова, которые может сказать только она, слова, с которыми ей легко будет ступить за ту черту, где уже не будет ничего. И это ожидание — последняя ниточка, связывающая ее с жизнью, и тем сильней, опасней она натягивается, чем дольше не приезжает Таньчора. Вот она уже гудит от напряжения, звенит!.. Именно этот звон слышим мы в словах старухи:

«С ей чё-то стряслось, — громче и настойчивей сказала она. — Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю. ...Таньчора первая на крылах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно».

Михаил тоже, видимо, слыша звон той струны и желая хоть чуть-чуть ослабить ее, неожиданно для себя решается на ложь: он говорит матери и всем остальным, что еще вчера отбил телеграмму Таньчоре, чтобы не приезжала, поскольку матери стало лучше, не подозревая, что ложь эта произведет совсем обратное действие. Старуха буквально не находит слов, чтобы высказать возмущение и обиду Михаилу за такой поступок: «Ты у меня последнюю радость отнял перед смертью, без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела».

Таньчора и в самом деле не приехала. Почему не приехала — мы так и не узнаем. Писатель не захотел объяснить нам причину. Да и нужно ли это?.. Ведь никакая причина, кроме болезни или другого какого несчастья, все равно не оправдала бы Таньчору. И нам остается гадать: действительно ли с нею что-то случилось (но тогда она должна была бы уведомить Михаила) или... Впрочем, не станем строить догадок. Будем думать, что она по-прежнему такая же, какой помнит ее мать... Будем думать, что телеграмма не застала ее дома, и ей не придется мучиться угрызениями совести всю жизнь, до последнего дня...

Люся, вслед за матерью, обрушивает на Михаила все громы и молнии за его бессердечный поступок. Считая себя куда как воспитанной (в городе живет!), она даже и отдаленно не догадывается, что как раз Михаил-то и понял старуху, ее душу, ее мысли в связи с отсутствием Таньчоры. Он знал, что этой ложью не продлит жизнь матери, но зато не даст ей испить под конец горькую чашу разочарования в том, что составляло предмет ее гордости, согревало в последний, «отпущенный богом», срок.

Михаил решил — пусть будет виноватым он, пусть на его голову падут упреки умирающей, но Таньчора—радость, солнышко старухи — останется незапятнанной... Ни городская Люся, ни простушка Варвара, ни грубоватый Илья не поняли, что в создавшейся обстановке это был самый гуманный шаг.

Поражает в повести и еще одно — проникновение молодого писателя в философию смерти — ту, простецки-житейскую крестьянскую философию, которая вполне логично и целесообразно выстраивается в сознании старухи в эти последние часы последнего срока.

«Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки».

И хотя писатель говорит, что в вечной круговерти за-

бот да хлопот старухе вроде бы и некогда было «оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба», она красоту эту успела все же разглядеть, и это ощущение красоты, понимание ее есть не что иное, как понимание самой поэзии, отнюдь не чуждой ее душе.

Давно не ходившая по лугам и рощицам, припоминая картины — одну ярче другой, — она думает: «Неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели... красота совсем нисколько не увяла и не померкла?»

«Ей стало обидно, грустно, — сообщает далее писатель, — но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней».

Умиротворенная таким ходом мыслей, она говорит о смерти спокойно, как об отъезде с праздника жизни: «Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора».

Подчеркивая безропотность, безотказность героини в вечной круговерти выпавших на ее долю трудов, подчас непосильных, В. Распутин отнюдь не хочет представить ее как «социально-пассивный» тип, как бессловесное существо, с низким интеллектом, хотя и твердыми нравственными принципами в житейском плане.

И мы понимаем это. Понимаем, что социальная активность его героини — в ее беззаветном труде, в ее сопричастности к судьбе России, в ее готовности разделить с нею все невзгоды, в ее, наконец, материнских обязанностях, потому что родить и вырастить детей — это не только личное дело, но и государственное!

А насчет бессловесности—что ж... Она, и верно, немногословна. Но это не значит, что не умеет постоять за себя. Чего стоит один штришок из ее жизни, за которым встает прямо-таки классический образ русской крестьянки, о которой так блистательно сказал Н. А. Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Некий Денис Агаповский, «зверюга», по определению однодеревенцев, подстерег в горохе мальчишек и вы-

стрелил солью в спину Миньке—младшему Анны. И мать восстает против такой бесчеловечности Денниса. Она «тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Деннису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу...»

Можно, конечно, этот поступок объяснить чувством материнства — дескать, даже ворона бросается на человека, когда ее птенцам грозит опасность... Все это так. Но нельзя не видеть в этом поступке и другого — того, что я сказал выше, — человеческого достоинства, бесстрашия, готовности, когда надо, постоять за себя.

Драматичен финал повести. Люся вдруг заявляет, что ей «надо ехать», и что она «не в отпуске», и, несмотря на протест — решительный — самой старухи, и робкий — Михаила и Варвары, — начинает собираться. Берется за чемодан и Илья, а чуть погодя и Варвара.

И вот:

«Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза».

И последняя фраза:

«Ночью старуха умерла».

Всего три обычных слова. Но для тех, кого старуха, очнувшись, просветленно называла «мои ребяты», это три выстрела: пусть вздрогнут, обернутся, побледнев, и может быть, что-то поймут...

Я думаю, дочитав новую повесть В. Распутина, что она для него, конечно же, шаг вперед и немалый, хотя и начинал он хорошо (имею в виду повесть «Деньги для Марии»). А еще я думаю, что в русскую литературу пришел писатель большого дарования, и он еще не раз порадует нас своими художественными открытиями.

Сергей ВИКУЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

◆

МОЛОДАЯ ПРОЗА СИБИРИ

Распутин Валентин Григорьевич

ПОСЛЕДНИЙ СРОК
ПОВЕСТИ

◆

Редактор Л. В. Белявская.
Художиик В. А. Авдеев.
Художествеиный редактор В. П. Миико.
Техиический редактор М. Н. Коротаева.
Корректор О. М. Кухио.

◆

Сдаио в иабор 26 октября 1970 г. Подписаио к печати 28 декабря 1970 г. Бумага тип. № 1. Формат 70×108/32. 16,45 печ. л., 15 изд. л. МН07591. Тираж 100 000.

◆

Западио-Сибирское киижиое издательство, Новосибирск, Красиый проспект, 34. Заказ № 10065. Типография издательства «Омская правда», г. Омск, проспект Маркса, 39. Цеиа 66 коп.





